

Библиотека журнала «Путь»

# Н.Ф.ФЕДОРОВ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ ВТОРОЙ



Москва

Издательская группа «Прогресс»

ББК 87.3(2)  
Ф 33

Редактор *П.Б. Шалимов*  
Художник *В.А. Пузанков*

Составление, подготовка текста и комментарии  
*А.Г. Гачевой и С.Г. Семеновой*

Работа издана при финансовой поддержке  
Российского фонда фундаментальных исследований

Издание осуществлено при финансовой поддержке  
Российского гуманитарного научного фонда  
согласно проекту № 95-06-186836

**Фёдоров Н.Ф.**

Ф 33 Собрание сочинений: В 4-х тт. Том II. — М.: Издательская группа «Прогресс», 1995. — 544 с.

Ф  $\frac{0301000000-036}{006(01)-95}$  без объявл.

ББК 87.3(2)

ISBN 5-01-004081-6  
ISBN 5-01-004037-9

© Оформление издательская группа «Прогресс»,  
1995  
© Составление, комментарии и научная под-  
готовка текста С.Г. Семеновой и А.Г. Гаче-  
вой

мануфактурными игрушками и ради них забывать о своих обязанностях в общем для всех деле. Общество же людей, которое не может жить без надзора, общество, держащееся карами наказаний, нуждающееся в суде, конечно, не может быть названо совершеннолетним. Может быть, проект о добровольном налоге писался одновременно с толстовским призывом к отказу от уплаты податей? Но что же ближе к христианству, опять спросим мы: добровольный налог или же отказ от платежа податей?.. И в пользу кого издает Толстой свои указы о неплатеже податей? В пользу ли тех, кои не могут платить, или тех, кои платить могут?.. Богатые, не платя податей, соответствующих своему богатству, до сих пор хотя слабо, но все-таки сознавали свою неправоту, теперь же они могут считать себя оправданными Толстым.

7. Исследования и наблюдения над внутренними явлениями и наружными их проявлениями, над наружностью и внутренними свойствами дадут возможность по первой (по наружности) судить о последних; и эти исследования и наблюдения должны привести к тому, что чужая душа не будет уже такими глубокими потемками, как ныне; души не будут взаимно чуждыми, и наружность не будет так обманчива. Тогда сделается возможным сближение людей по внутренним душевным свойствам, станет возможно психическая группировка, т. е. психический подбор людей, которые могут жить вместе без раздора и даже не могут жить врозь, не чувствуя неполноты и недостаточности. Это — задача прикладной психологии, психологии низшей, хотя и не индивидуалистической только, но и коллективной; и только такое приложение и дает смысл всесторонним психологическим исследованиям. Общая же и высшая психология дает основание для объединения отцов в общем деле воспитания сынов и для объединения сынов в труде восстановления жизни отцов, причем первые, находя в себе сыновнее, а последние, находя в себе отеческое, могут, согласно первосвященнической молитве Спасителя, сказать: «мы в вас и вы в нас», и в этих выражениях не будет уже ничего мистического.

### МУЗЕЙ, ЕГО СМЫСЛ И НАЗНАЧЕНИЕ

Наш век, гордый и самолюбивый (т. е. «цивилизованный» и «культурный»), желая выразить презрение к какому-либо произведению, не знает другого, более презрительного выражения, как «сдать его в архив, в музей...». Уже по этому можно судить, насколько искренна благодарность потомства, например, к гениям-изобретателям, да и вообще к предкам, к которым обыкновенно так жестоки бывают современники. Во всяком случае почтение, выраженное «музейски», в нынешнем смысле этого слова, не лишено лицемерия и заключает в себе двусмысленность; а потому музей, в смысле презрения, и музей, в смысле почтения, это такое противоречие, которое нуждается в разрешении (Примеч. 1-ое).

Должно, однако, заметить, что презрение к сдаваемому в архив совершенно неосновательно и происходит оттого, что наш век решительно неспособен сознавать свои недостатки. Если бы он не был лишен этой способности, то, конечно, признал бы не позорную, а истинно почетную сдачу в музей, например, первого парохода, который до этой сдачи занимался, быть может, перевозкою негров или же перевозкою мануфактурного вздора и стал затем негоден к употреблению для этой цели. И возможно ли найти, придумать для этого парохода или вообще для чего бы то ни было, для каких бы то ни было произведений такое употребление, вынужденное прекращение которого могло бы вызвать сожаление? Такое употребление было бы несомненно выше, а не ниже бездей-

ствия, составляющего часть всего сдаваемого в музей!.. Перевозка или доставка, например, хлеба?!.. Но хлеб перевозится из села в город; торг же города с селом — не братский обмен, служить которому было бы почетно. Точно так же и перевозка войска не братское дело!.. И тем не менее, если музей есть только хранилище, хотя бы даже почетное, то сдача в него, как в могилу, хотя бы и сопровождаемая художественным или ученым, т. е. мертвым, восстановлением, не может заключать в себе ничего хорошего, и в этом случае уничтожительное значение, которое ему придается, имеет основание. Но если сдача в архив, как только в хранище, заслуживает презрения, а мертвое восстановление не удовлетворяет живых существ, то и оставаться в жизни такой, какова она есть, также не почетно: покой и смерть, вечный разлад и борьба — одинаковое зло; и лицемерие неизбежно, пока музей — только хранилище, только — мертвое восстановление, а жизнь — только борьба.

А между тем хранилище все расширяется, тем больше, чем энергичнее становится борьба, усиление которой столь же несомненно. Понятно, что век, называющий себя прогрессивным, будет тем обильнее, тем богаче «сдачами» в музей, чем он вернее своему названию века прогресса. Прогресс, правильное сказать, борьбу, поставляющую столько жертв музею, избавляющему сдаваемое в него от небратской деятельности, можно было бы не считать носящею боль и смертоносную, если бы каждое произведение не имело своего авторства и если бы прогресс не был вытеснением живого. Но прогресс есть именно производство мертвых вещей, сопровождаемое вытеснением живых людей; он может быть назван истинным, действительным адом, тогда как музей, если и есть рай, то еще только проективный, так как он есть собиранье под видом старых вещей (ветоши) душ отшедших, умерших. Но эти души открываются лишь для имеющих душу. Для музея человек бесконечно выше вещи; для посада же, для фабричной цивилизации и культуры вещь выше человека. Музей есть последний остаток культа предков; он — особый вид этого культа, который, изгоняемый из религии (как это видим у протестантов), восстанавливается в виде музеев. Выше ветоши, сохраняемой в музеях, только самый прах, самые останки умерших, как и выше музея — только могила, если сам музей не станет перенесением праха в город или же превращением кладбища в музей.

Наш век глубоко благоговеет перед прогрессом и его полным выражением — выставкою, т. е. перед борьбою, вытеснением, и, конечно, пожелает вечного существования вытеснения, именуемого прогрессом, этого совершенствования, которое никогда не сделается даже настолько совершенным, чтобы уничтожить ту боль, которою это совершенствование, как и всякая борьба, необходимо сопровождается. И никак уже не дерзнет наш век представить себе, что самый прогресс делается когда-либо достоянием истории, а эта могила, музей, станет восстановлением жертв прогресса в ту пору, когда борьба заменится согласием, объединением в деле восстановления, в котором единственно и могут примириться партии прогрессистов и консерваторов, борющиеся от начала истории.

Второе противоречие современного музея заключается в том, что век, ценящий лишь полезное, собирает и хранит бесполезное. Музеи служат оправданием XIX веку; существование их в этот железный век доказывает, что совесть еще не совершенно исчезла. Иначе и понять нельзя хранения в нынешнем всепродажном, грубоутилитарном веке, как нельзя постигнуть и высокой непроданной ценности вещей негодных, вышедших из употребления. Сохраняя вещи вопреки своим эксплуататорским наклонностям, наш век, хотя и в противоречие с собою, еще служит неведомому Богу (Примеч. 2-ое). Но сохранится ли это уважение к памятникам прошедшего при дальнейшем прогрессе, при увели-

чении искусственных потребностей, признаваемых необходимыми, при усиливающейся заботе только о настоящем? Египтяне в нужде закладывали мумии своих предков, несмотря на то, что в их представлении такой заклад равнялся ухудшению судьбы предков; наше же время, при дальнейшем прогрессе, может и совсем оставить все, относящееся к нашим предкам, всякие о них памятки; но вместе с тем человек, утратив самое чувство и понятие родства, перестанет уже быть существом нравственным, т. е. достигнет полного буддийского бесстрастия; для него не будет уже ничего дорогого, а общество делается воистину муравейником, который также, впрочем, способен к «прогрессу»!

Однако уничтожить музей нельзя: как тень, он сопровождает жизнь, как могила, стоит за всем живущим. Всякий человек носит в себе музей, носит его даже против собственного желания, как мертвый придаток, как труп, как угрызения совести; ибо хранение — закон коренной, предшествовавший человеку, действовавший еще до него. Хранение есть свойство не только органической, но и неорганической природы, а в особенности — природы человеческой. Люди жили, т. е. ели, пили, судили, решали дела и сдавали их, полагая оконченными, в архив\*, вовсе не думая при этом о смерти и об утратах; в действительности же оказывалось, что сдача дел в архив и перенесение всяких останков жизни в музей были передачею в высшую инстанцию, в область исследования, в руки потомков, одному или нескольким поколениям, смотря по положению, по состоянию, в котором исследование находится, смотря и по тому, какого значения и распространенности исследование достигло. Высшей степени же своей оно достигнет тогда, когда сами решавшие дела будут и исследователями их, т. е. сделаются членами музея; иначе сказать, когда исследование делается совокупным самоисследованием и таким образом приведет к тому, что за смертью воскрешение будет следовать непосредственно. Эта инстанция — не суд, ибо по всему сданному сюда, в музей, восстанавливается и искупляется жизнь, но никто не осуждается. Музей есть собрание всего отжившего, мертвого, негодного для употребления; но именно потому-то он и есть надежда века, ибо существование музея показывает, что нет дел конченных; потому музей и представляет утешение для всего страждущего, что он есть высшая инстанция для юрико-экономического общества. Для музея самая смерть — не конец, а только начало; подземное царство, что считалось адом, есть даже особое специальное ведомство музея. Для музея нет ничего безнадежного, «отпетого», т. е. такого, что оживить и воскресить невозможно; для него и мертвых носят с кладбищ, даже с доисторических; он не только поет и молится, как церковь, он еще и работает на всех страждущих, для всех умерших! Только для одних жаждущих мщения в нем нет утешения, ибо он — не власть и, заключая в себе силу восстанавливающую, бессилен для наказания: ведь воскресить можно жизнь, а не смерть, не лишение жизни, не убийство! Музей есть высшая инстанция, которая должна и может возвращать жизнь, а не отнимать ее.

Кремль, превращенный в музей, есть выражение всей души, полноты и согласия всех способностей, отсутствие внутреннего разлада, выражение единства, мира душевного и радости, т. е. всего того, чего именно недостает нашему прогрессивному веку; музей и есть *«свышний мир»*. Когда музей был храмом, т. е. силою регулирующею, поддерживающею жизнь предков (по крайней мере в представлении людей), тогда воля, выражавшаяся в этом (т. е. в храмовом), хотя и мнимом действии, была согласна с разумом, оправдавшим, признавшим это мнимое действие за действительное. Тогда и разум не отделялся

\* Или же остатки жизни, деятельности сами собою делались достоянием музеев, как кухонные, например, отбросы даже доисторических времен, попавшие в музей.

от памяти, а действию поминовения, нынешнему обряду, придавалось реальное значение; тогда память была не хранилищем только, а и восстановлением, хотя и мнимым и только мысленным, конечно, но все же служившим действительно гарантией сохранения отечества, общего происхождения, братства. Когда же разум отделяется от памяти об отцах, тогда он становится отвлеченным изысканием причин явлений, т. е. философией. Не отделенный от памяти об отшедших, он есть искание не отвлеченных причин, а отцов; разум, так направленный, становится проектом воскрешения. Лингвистические исследования подтверждают это первоначальное единство способностей: один и тот же корень оказывается в словах (арийских, но, вероятно, и других языков), выражающих и память (притом память именно об отцах, об умерших), и разум, и вообще душу, и, наконец, всего человека. Подтверждают единство памяти и разума также психологические исследования позитивистов, сводящие процессы знания к закону памяти, ассоциации, волю же обращающие в регулятора действий. А потому мы и можем сказать, что от памяти, т. е. от всего человека, родились музы и музей; иначе сказать, как лингвистические, так и психологические исследования убеждают нас, что муза и музей современны самому человеку, они родились вместе с его сознанием. Следовательно, цель музея не может быть иною, чем цель хора и храма предков, в который и превратился хор, т. е. солнцевод, возвращавший солнце на лето, возбуждавший жизнь во всем, что замерло зимою. Разница здесь будет лишь в способе действия, который в хороводе и храме не имел действительной силы; действие же музея должно иметь силу, действительно возвращающую жизнь, дающую ее. Это и будет, когда музей возвратится к самому праху и создаст орудия, регулирующие разрушительные, умерщвляющие силы природы, управляющие ими.

Мы не преувеличим, конечно, если скажем, что музей, как выражение всей души, возвратит нам мир душевный, лад внутренний, даст нам радость, которую чувствует отец при возвращении блудного сына. Болезнь века и заключается именно в отрешении от прошлого, от общего дела всех поколений, что и лишило нашу жизнь смысла и цели, а в литературе породило фаустов, донжуанов, кайнов и вообще мятежные типы, а в философии — субъективизм и солипсизм. Когда не было разлада между способностями, тогда не было разъединения и между религиею (как культом предков), наукою и искусством (бывших также небесными и земными, как и подземными). Как сам человек был тогда цельным, здоровым существом, так не было разделения и в области знания и деятельности, не сокращавших своих областей, не ограничивавших их лишь настоящим, удовлетворением лишь животных хотений, как делается это ныне ради выделения от религии, из вражды к ней. Первые мудрецы (еще не философы) были астрономами, поклонниками, вероятно, музы Урании, т. е. не только естествоиспытателями в нынешнем значении этого слова, но и антропологами и теологами, так что мудрец и астроном были словами однозначущими, а мудрость заключалась именно в астрономии, которая обнимала все божеское и человеческое, небесное и земное, умершее и живущее, была не знанием лишь отвлеченных, но познанием, а вместе и почитанием отцов-предков. Вопрос о смерти человека, о конце или разрушении мира есть вопрос и тео-, и космоантропологический, или, что то же, вопрос астрономический. Он не мог произойти из праздного любопытства, потому что в то время не было еще людей, живших исключительно знанием кабинетных ученых; не мог явиться этот вопрос из праздного любопытства и потому, что знание тогда не отделялось еще от действия, хотя и воображаемого, границ которому не видели, потому что не умели еще отделять собственного действия от действия природы. Ионийские мудрецы<sup>1</sup> усомнились только в средстве действия, в реальности действия мифиче-

ского, которое, как принималось тогда, обращало небо в жилище умерших, а потому и искали не только ту стихию, в которую все возвращается, из которой все возникает, но и силу, которую все держится, все управляется. Но ведь и нынешняя наука не имеет права жить для себя, и она должна считать себя средством или исследованием для открытия истинного способа действия взамен мифического, художественного, считать же себя знанием лишь для знания и освобождать себя от обязательной службы общему делу наука не имеет права. Если для нынешнего человека и покажется такое требование, такое посягательство на свободу личности возмутительным, то это — от дикой привычки считать свободу личности безусловною в век, когда, однако, не признается ничего безусловного. Право на такую свободу есть только право жить по своим капризам, обращать жизнь в мелочную и пустую, а затем в отчаянии спрашивать: «Жизнь, зачем ты мне дана?»

Вот почему на основании единства знания и действия и астрономы-специалисты не имеют права уклоняться от обязательной службы, от долга, данного человеку при самом его появлении, как не имеют этого права и все естествоиспытатели, науки коих составляют лишь выделение из небесной науки, отвлечение от науки о вселенной. На том же основании и обсерватория есть такая же необходимая принадлежность всенаучного музея, как внешние чувства, органы восприятия, необходимы каждому человеку для его внутреннего чувства и памяти. Но под обсерваторией мы разумеем орган науки не отвлеченной, а астрономии физической, химической науки обо всем веществе, органическом и неорганическом, растительном, животном и человеческом, так что человечество (которое только в совокупности составит истинный музей) из обсерватории наблюдает всю вселенную — с внешней стороны, а самого человека — со стороны антропологической. Обсерватория наблюдает мир, который, можно сказать, слит с памятью об умерших, о прошлом; прошедшее же составляет предмет истории. Началом обсерватории был гнóмон<sup>2</sup>, изобретение которого приписывают ионийским мудрецам. Первобытный человек определял время, вероятно, по собственной тени, в позднейшее же время, в городском быту, гнóмон заменил этот способ определения времени; это было орудие измерения своих действий и вообще прожитого, потому-то часы (преимущественно песочные) и стали атрибутом смерти. С помощью гнóмона создал человек и календарь, в котором отмечал не только времена оживления природы (праздники) и замирания ее, но и дни кончины отцов, т. е. дни поминовения предков, потому-то музей, как создание памяти об отцах и обо всем, что связано с ними и с прошедшим, неотделим от обсерватории (Примечание 3-е). Астрономический календарь был вместе и термическим, оптическим и вообще физическим и химическим, ибо все силы природы, и особенно сила биологическая, органическая, изменяются по частям дня и временам года.

Воспитательное значение обсерватории как школы требует, чтобы праздное глазенье обратилось в обязательное наблюдение, чтобы небу было дано столько наблюдателей, сколько в нем звезд. Платонизирующее христианство старалось мысль держать «горé», но, чтобы мысль не падала «долу», нужно глаза поднять к небу, нужно созерцание обратить в наблюдение.

Итак, обсерватория относится к музею, как внешние чувства (совокупность которых, т. е. всех способов наблюдения или органов восприятия, и есть обсерватория) относятся к разуму, но к разуму в обширнейшем или, вернее, в настоящем, действительном его смысле и значении, к разуму, который не может быть отделен от памяти об отцах, а составляет с нею одно неразделимое целое, к такому разуму, которым обладает только сын человеческий, возведенный вообще в критерий человечности в умственном и нравственном отношении.

Музей же, объединяющий сынов человеческих для всеобщего исследования неба или вселенной, относится к обсерватории не как хранилище лишь летописей и фотографических снимков с неба, звезд и вообще с естественно-исторических наблюдений, ибо для астрономической обсерватории нет прошедшего, как нет его и для движения солнечной системы, которое есть не прошедшее, а продолжающееся явление, открываемое по изменению положения звезд, почему астрономам и необходимо памятовать, содержать, так сказать, в себе положение звезд, внесенные в самые ранние каталоги. Здесь, таким образом, память сливается с разумом, а прошедшее с настоящим до того, что смерть наблюдателей является только сменой часовых, устроющих регуляцию мира или по крайней мере открывающих путь к установлению управления миром. Бессилие установить регуляцию и лишило человека возможности удерживать и восстанавливать жизнь. Нет прошедшего и вообще для естествознания, так как само оно — только представление человеческим родом природы, или (что то же) проект управления ею, приводимый в лице музея объединенным человеческим родом в исполнение. Музей, таким образом, есть учреждение историческое в смысле не только знания, но и действия: как естествознание, он есть астрономия с объединенными в ней физическими науками; с другой же стороны и само естествознание — та же история, она — проект регуляции, приводимый в исполнение.

Но музей и с обсерваторию, производящую только рекогносцировку, остается пока организмом без органов действия, без рук и ног, потому что человечество в совокупности неспособно до сих пор не только к действию, но и к передвижению, если только не принимать за таковое перемещение земли, совершающееся независимо от человека. Этот организм (музей с обсерваторию) и останется без рук, если город и село пребудут разъединенными, в силу чего естественно-исторический музей останется вне естественного процесса природы, не будет разумом его и самые воспоминания, хранимые музеем, не будут действительным, материальным воскрешением, как и воля не будет регулятором природы. По причине этого именно разъединения города с селом и сосредоточения всей умственной жизни в первом, природа и кажется нам неуловимой; мы же природу обвиняем, будто она скрывает себя от нас. Не вернее ли сказать, что сами мы не открываем ее по нашему недосужеству, занятые мануфактурным производством и всем тем, что с ним связано. По недосужеству мы не умеем приготовить наблюдателей и исследователей, потому что с детства закабаливаем их на фабрику для удовлетворения наших ничтожнейших прихотей. Точно так же несправедливо будет сказать, что природа не дает нам ходу и, прикрепив к земле, сделала нас бессильными в устройении регуляции. Все эти жалобы так же справедливы, как справедлива была бы раньше жалоба на то, что природа лишила нас возможности переплыть океан, пока это не удалось Колумбу. И в настоящее время, в фотографических, например, изображениях солнца, нам дано, надо полагать, все, по чему мы можем составить себе полное понятие о том, что такое солнце, и уже наша вина, что до сих пор мы не сумели еще воспользоваться всеми этими, имеющимися у нас данными, доселе не сумели прочитать их.

Астрономия, воссоединив неестественно отвлеченные и незаконно отделенные от нее, забывшие свое происхождение науки, как физику и химию неорганического и органического вещества (ибо может быть физика и химия земель или планет, солнц, междупланетных и междусолнечных пространств, но защищать независимость, отдельность этих наук могут только люди, не признающие общего дела человеческого рода), — астрономия будет обращаться



к астрорегуляции, а человеческий род станет астрономом-регулятором, в чем и состоит его естественное назначение.

Не только физика и химия и вообще естественные науки, но и философия есть лишь отвлечение от астрономии. Первые философы или мудрецы были астрономы, храм был первым изображением мира (Примеч. 4-е), земля считалась основанием и первым элементом бытия. Но для философа, не мудреца, а лишь любителя, виртуоза мудрости, для философа в буквальном значении этого слова, земля уже — не основание, не стихия. Для Анаксимандра<sup>3</sup>, например, она — метеор и остается неподвижной, вследствие равного расстояния от границ вселенной. Таким образом начинало созидаться коперниканское мировоззрение; небо было не только верхом, но и низом, оно обняло собою землю. Теоретическое искание причины, а практически — отыскивание опоры, поддержки есть необходимое выражение существа, принявшего неустойчивое, вертикальное положение. Тот же вопрос об опоре относится и к целой земле. Если мы припомним, что через всю почти историю непрерывно проходит опасение за разрушимость земли, за кончину мира, то и становится понятным, почему этот вопрос об опоре, о причине мира, остается всегда открытым. Какой громадный переворот должен был произойти в воззрениях, когда Анаксимандр на место твердой опоры, фундамента, или даже жидкой, как принимал Фалес<sup>4</sup>, оставил землю в центре без всякой осязательной поддержки, соединив понятие о низе с окружностью мира, понятие же о верхе — с центром земли; понадобилось создать целую новую физику, новое представление о падении тел. Анаксимен<sup>5</sup> принял за опору мира и за первый элемент воздух, который он считал душою и космоса, и человека. Пифагор стал уже Коперником древнего мира, но все же в этом мире торжество осталось за системою Птолемея. Впрочем, коперниканская система не удержится и в новом мировоззрении, если не получит практического значения.

Отвлечение философии от астрономии сделало непонятным самый вопрос об основе, опоре, причине. Философия, отыскивая смысл всего, не знала своего происхождения, своего *raison d'être*<sup>6</sup>, утратила и смысл своего существования. Страх разрушения мира, сомнения в прочности его вызвали к существованию науку об условиях устойчивости вселенной, сохранения ее и восстановления из первоэлемента. Астрономия искала *неразрушимого*, из которого может быть все восстановлено. Но сама астрономия родилась из упадка религии, которая всегда считает себя обладательницей способа сохранения и восстановления мира. В вопросе о поддержании и восстановлении становятся понятными и физика, и химия, и сама философия.

Постоянные раздоры дали вопросу о мире и об обществе первое место и затмили основной, всеобщий вопрос. История, имея предметом вечные раздоры, выделилась в особую науку; но пока она будет повествовать о человеке как раздорнике, пока будет смотреть на жизнь человеческого рода, как она ныне есть, только как на факт, не задаваясь вопросом, чем она должна быть, т. е. проектом будущей жизни, до тех пор человечество не опознает в астрономии, в космическом искусстве или в мировой регуляции своего общего дела.

Чтобы иметь мир внутренний и лад душевный, без которого невозможен и мир внешний, нужно быть не врагами своих предков, а действительно благодарными их потомками; не достаточно ограничиваться поминовением только внутренним, культом лишь умерших, нужно, чтобы все живущие, объединяясь по-братски в храме предков или музее, который имеет своими органами не обсерваторию лишь, но и астрономический регулятор, обратили бы слепую силу природы в управляемую разумом. Тогда не будет царствовать бесчувственное, не будет оно лишать жизни чувствующее, тогда будет восстановлено и все чув-

ствовавшее, в воскрешенных поколениях объединятся все миры и откроется безграничное поприще для их союзной деятельности, и только она сделает внутренний разлад ненужным и невозможным.

Астрономия, взятая отвлеченно от физики и других естественных наук, может иметь приложение только к определению мест на земле и к мореходному искусству в особенности. Отвлеченная физика имеет приложение к промышленности, к искусственному делу. И только физика в смысле метеорологии, как физика земной планеты и других небесных миров, т. е. астрономическая физика или физическая астрономия, может иметь практическое приложение к регуляции метеорологической. Можно, конечно, объединить естествознание и в физике, как знания о природе, о рожденном, но такое объединение было бы полным отречением от всякого приложения естествознания к практической жизни, или же в таком случае естествознание станет служить увеличению лишь наслаждений, и, следовательно, не только не будет служением *всеобщему* благу и *всем*, ибо исключает умерших, но не обнимает даже и всех живущих, так как, увеличивая материальные наслаждения, оно в то же время усилит внутренние страдания и внесет глубокий разлад в жизнь. Естествознание же в форме астрономии не может иметь приложения к корыстным целям ни для большинства, ни для меньшинства, оно может быть только регулятором падения, т. е. стать опорой мира; вместо внешних поддержек и подпорок оно может сделаться внутренним регулятором, противодействующим распадению, разрушению, может стать связью, т. е. ввести взаимообщение небесных миров, и таким образом восстановить жизнь, ибо только космическое разобщение было коренною причиною смерти, смены поколений. Только одновременно могут начаться два великие дела, в сущности составляющие одно дело: с одной стороны, естественные науки должны объединиться в форме астрономии для того, чтобы их общее исследование стало раскрытием способа и плана мировой регуляции; с другой же стороны, должно начаться собиранье всех сил всех людей для осуществления плана регуляции, т. е. должно начаться превращение городской воинской повинности, предназначенной для борьбы с себе подобными, в сельскую для обращения смертоносной силы природы в живоносную.

Музей в смысле древних (от коих мы и заимствовали это учреждение) есть собор ученых; его деятельность есть исследование. Но в этом определении и заключалось бессилие музея; этим определением он сам себе поставил преграды для распространения. Поэтому музей и в христианском мире остался языческим: он одинаково ограничил себя и по объему, и по содержанию, так как исследование стало отвлеченным, школьным и сам музей-собор остался замкнутою школою, сословием. Музей-собор будет наполняться, а собиранье сделается всеобщим только тогда, когда самосознание будет не просто исследованием, а изучением причин разобщения ученых и неученых, причин, препятствующих *всем* сделаться членами музеев, что, конечно, входит в вопрос о всеобщем родстве. Тогда и знание будет столь же неограниченно, как всеобщее собиранье, т. е. собор будет действительно вселенским, а знание в высшей своей стадии уничтожит, как сказано, разобщение миров восстановлением всех прошедших поколений.

Музей есть *не собрание вещей, а собор лиц*; деятельность его заключается не в накоплении мертвых вещей, а в возвращении жизни останкам отжившего, в восстановлении умерших, по их произведениям, живыми деятелями. Знание отвлеченное не может быть всеобщою обязанностью, знание же причин, делающих нас врагами, не может не быть долгом для всех, так как оно не может остаться только знанием, а станет делом, религиею, примиренною с наукою. Разобщение и распадение есть факт не только человеческой, но и физической приро-

ды; и распадение в последней совершенно понятно, неизбежно, необходимо, если разобщение существует в первой. Распадение обусловлено слепотою естественной силы и объясняется леностью, бездействием разумных существ, по какому-то недоразумению также в слепоте пребывающих. Однако разобщение не может быть безусловным и всемогущим потому уже, что мы в себе ощущаем стремление и силу общения, собирания, восстановления. Религия, наука, искусство, все это — силы собирающие, но, взятые в отдельности, они немощны, а между тем в настоящее время они существуют только в отдельности! Религия приняла напутственный молебен, крестное знамение, полагаемое пред началом дела, за самое дело; но молитва, предназначенная быть выражением всей религии, не поддержанная общим делом, превращалась из молитвы, выходящей из сердца, от всей души, в молитву, произносимую одними устами. Сердце, озабоченное настоящим, злобою дня, стало далеким от Бога, и не приблизится к нему, пока самая деятельность не станет делом Божиим, всеобщим, исследованием и устранением причин небратского состояния, т. е. тех же самых причин, которые заставляют нас оставлять дело отеческое, дело Отца Небесного. Только дело дает религии жизнь, душу, иначе она будет лишь словом, и притом словом суетным, а не Божиим делом. Нужно же обратить внимание на причины, по коим религия, произведя подъем духа, никогда не могла удерживать людей на той высоте, на которую поднимала их.

Наука, исследование, с своей стороны, хочет жить или для себя, или только для настоящего. Но какое имеет она право отказываться от человеческого дела, будучи сама делом людей, или же суживать, ограничивать свою деятельность одним настоящим, когда она сама — дело не одних живущих? Может ли быть признано нормальным такое положение, при котором исследование, свойство и отправление разума делается достоянием одного класса, а не всех разумных существ? Какое имеем мы право ради благосостояния промышленности, удовлетворяющей не нужды наши, а лишь прихоти, приостанавливать обучение для огромного большинства в том возрасте, когда разум только что вступает в силу? Имеет ли право музей оставаться, по древнему определению, собором лишь ученых, трапезою только для знаменитых людей всей земли, как он называется автором жизни Аполлония Тианского<sup>7</sup>, вместо того, чтобы быть всеобщей евхаристиею знания?.. По-христиански музей, очевидно, — не собор только ученых, а собрание всех; назначение музея быть «ловцом человек». Исследование же, т. е. наука, не может уже оставаться только отвлеченным знанием; она должна сделаться исследованием причин, препятствующих всем нам быть членами музея, исследователями, и соединиться воедино для отеческого дела. Христианство не коснулось еще музея, всеобщее собрание еще не признано его обязанностью. Музей в его современном положении не соответствует даже и человеческой природе, которая разум делает общим свойством всех людей, тогда как исследование считается пока все еще принадлежностью только одного класса, интеллигенции, большинству же оставляется только низшая сила — рассудок, хитрость, которой не лишены и животные. Музей в настоящее время — не собор даже и ученых, ибо ученые общества опять составляют отдельные учреждения или по крайней мере нераздельность их с музеем не признается еще необходимостью. Музеи не составляют даже и одного Музея, они не достигли единства даже и в этом отношении, хотя такое единство необходимо для музея, чтобы не противоречить его сущности, ибо нынешние музеи, как собрания только вещественного, — коллекции чисто случайные. Какое могут иметь значение передача вещей, «сдача оконченных дел», построение памятников, если все это совершается не по определенному плану, не в видах достижения ясно намеченной цели, а по какому-то роковому закону,

на который мысль человеческая не обращала, по-видимому, даже внимания и из которого она во всяком случае не сделала предмета исследования и знания. Мысль человеческая не составила и проекта собирания в видах достижения полноты его, чтобы избавить будущие поколения от необходимости разыскивать то, что должно бы быть сохранено и что, однако, исчезло, хотя трудности таких разысканий мы ежедневно чувствуем. До сих пор остается загадкой, почему одно сохраняется, а другое исчезает, хотя и в самой слепой природе есть, по-видимому, стремление к сохранению. Музеи скорее рождаются, чем создаются, потому что едва ли отдается вполне отчет в побуждениях, которыми руководствуются при учреждении музеев. Итак, музеи суть явления случайные, неповсеместные; рост каждого из них неправильный, непостоянный, не непрерывный, а внутреннее распределение предметов в них представляет скорее случайный сброд, чем правильное собирание; так что определение, которое можно дать нынешнему музею, будет более идеальное, чем соответствующее действительности, хотя и это идеальное определение далеко не будет соответствовать тому, чем должен быть музей.

---

Музей пассивный, музей, как изображение, как подобие мнимого воскрешения, как только хранилище, есть музей идеальный лишь в том смысле, что для него совершенство невозможно. С одной стороны, музей есть образ мира, вселенной видимой и невидимой, умершего и еще живущего, прошедшего и настоящего, естественного, произведенного слепую силою, а также и искусственного, произведенного полусознательною силою народов. С другой стороны, музей есть произведение ученого и интеллигентного классов, труда умственного при помощи физического труда народа. Этот труд, однако, не сама история, а лишь ее подобие. Нынешний музей, идеально представленный, может быть назван книгою, библиотекою, иллюстрированную картинными и скульптурными галереями и вообще всеми вещественными произведениями, от периода золитического до нашего, новожелезного или стального, как можно бы его назвать. Нынешний музей — это как бы книга, поясняемая демонстрациями физических кабинетов и химических лабораторий, разросшихся в особые институты (Примеч. 5-ое). Зоологические и ботанические сады, как образ флоры и фауны всей земли с идеальными геологическими разрезами, суть также наглядные предметы, без которых непонятна книга, как и сами эти предметы непонятны без книги. Это, однако, не значит, что для зоологических и иных садов нужны только зоологические сочинения; это значит, что и самые зоологические сады и сочинения составляют лишь часть истории знания и действия человеческого. Астрономические и метеорологические обсерватории, объединяя все в себе, завершают пояснение книги. Книга же эта есть история, но это значит, что в книге нужно видеть не одни лишь личные, субъективные мнения: в ней выражается сам автор, за книгою стоит сам написавший ее, т. е. род человеческий. Кто не видит за книгою автора, чья мысль не переходит от произведения к тому, кто произвел его, тот не действует нормально ни в умственном, ни в нравственном смысле, тот поступает не по-сыновнему. Музей и с предметной стороны есть <совокупность лиц>, само человечество в его книжном и вообще вещественном выражении, т. е. музей есть собор живущих сынов с учеными во главе, собирающий произведения умерших людей, отцов. Задача музея поэтому естественно — восстановление последних по первым (Примеч. 6-ое).

Необходимо заметить, что музей и новым книгам может придавать лишь историческое значение, и себя самого он может признать не истиною или выра-

жением ее, а только переходом к ней. Храня старое и собирая новое, музей будет обладать полнотою тогда, когда он явится не только всенаучным, всехудожественным, политехническим, не только собранием всего оставшегося от прошлого, но и всего в настоящее время выходящего, и не по одной только ветви знания и не в одной лишь какой-либо местности, а по всем отраслям и повсеместно. Музей, оставаясь хранилищем, не только не может достигнуть идеальной полноты, но и тем менее будет соответствовать идеальному о нем представлению, чем жизнь будет более развиваться. И это понятно! Чем более человек будет подвигаться по пути нынешнего промышленного прогресса, тем более будет сдавать в музей вещей, тем более будет требоваться места, сил и средств для хранения, и в то же время тем менее сравнительно будет попадать их в музей (Примеч. 7-ое). Не принимать же, уничтожать что-либо, хотя бы то были даже вывески, объявления, рекламы (Примеч. 8-ое),— значит отказаться от самого существенного свойства музея— быть выразителем духа времени, не говоря уже о том, что принимать лишь одно достопримечательное— значит присваивать себе право судьи и привилегию знания истины и по своему произволу одним давать бессмертие, а других лишать его. Но какое право имеет музей отказывать в помещении, например, даже всех выходящих из моды костюмов, которые изменяются, однако, не только по временам года, но даже и по часам дня? Собрание таких костюмов есть тот же этнографический музей, если не выключать из среды народа класс тех людей, что изменяют свои одежды не сезонно только, но и по часам дня? Отказаться музею от хранения костюмов равнялось бы отказу орнитологического музея от хранения птиц в оперении, равнялось бы хранению птиц лишь общипанными, т. е. без перьев. Это было бы тем более непонятно, что для человека, признающего в жизни единственною целью наслаждение, в костюмах заключается конечная цель современной жизни (Примеч. 9-ое). Если же музей все это будет хранить, то, даже обратив всех производителей в хранителей, музей все же не мог бы вместить всех плодов этого печального производства, этого позора человечества.

*Невозможность единства для музея подобия, музея идеала, музея знания, а не действия.* Еще меньшую возможность имеет музей привести в порядок свое собрание, дать ему единство. Если он явится верным изображением прошлого и настоящего, он будет изображением не единства, а раздора. Строгая классификация невозможна в музее потому же, почему она невозможна и в науке, как в естественной, так и общественной,— невозможна по причине отсутствия в мире (вернее, по причине утраты им) разумного единства, такого, при котором *мир*, в смысле согласия, не нужно было бы отличать от *мира* в смысле вселенной, и человечество было бы действительно одним родом, братством, родством, причем психическая классификация тем легче понималась бы, чем интенсивнее она бы чувствовалась. Единство нужно *дать*, а не *искать* там, где его нет; точно так же, как и предсказания нужно заменить действием, потому что только то мы можем безошибочно предсказать, что можем сами сделать (так, для нас легче было бы, возможно устроить метеорическую регуляцию, чем с полною уверенностью предсказывать погоду).

Раздор существует и в мире мысли, в области науки; и хотя причина вражды заключается не в мысли, не в книгах, однако и они не могут считаться совершенно неповинными в распространении вражды. Во всяком случае примирение может начаться только в мире мысли. Книги— не мирные существа, и они так же чужды, столь же враждебны друг другу, как наше светское и духовное, военное и гражданское, экономическое и бюрократическое. А потому и библиотека, как собрание книг,— область не мира, а борьбы, полемики, и отделение ее или рубрики каталога соответствуют всем сказанным разделам самого

общества. Чтением уже всасывается вражда, воспитываются, создаются борцы по каждому небратскому состоянию общества, по каждому небратскому отделу библиотеки, по каждому разряду ее каталога, ибо классификация книг основана на том же начале вражды, на каком и общества распадается на небратские состояния или сословия; уже в книгах выражаются вообще небратские отношения всех между собою людей. Отделениям библиотеки или рубрикам каталога соответствуют журналы различных направлений и специальностей, ученые общества, факультеты и другие специальные учебные заведения (последние отрицают единство знания, не признавая университета, как единства или совокупности знания; впрочем, и университеты представляют только мнимое единство, единство не знания, а лишь управления). Музей, как верное изображение современного мира, есть образ розни и вражды; но самое создание музея, самое собиранье предметов вражды указывает уже на необходимость согласия, указывает уже и цель объединения.

До какой глубины проникло нынешнее разъединение, можно судить по тому, что даже слово Божие, которое есть сам мир, сама взаимосвязь, обратившись в богословие, как особую науку (по той же причине, по какой образовалось особое духовное сословие), забыло истинную цель, распалось и образовало целую энциклопедию односторонностей (отвлеченностей), так называемых богословских наук. Само христианство стало религиею идеала, т. е. совершенства, но совершенства недостижимого; духовенство обратилось в сословие, вместо того чтобы быть трудящеюся комиссиею, богословие же сделалось знанием, а не делом. Влияние жизненного раздора на образование духовных наук, преподаваемых в духовных академиях или богословских факультетах, очевидно. Кроме главного и недостижимого выделения из богословия догматики и нравственности в особые науки догматического и нравственного богословия, из него образовалось еще юридическое учение, каноническое право. Вопрос экономический о содержании церквей, духовенства, их вдов и сирот имеет уже столь обширную литературу, что и он удостоится особого отдела в каталоге богословских наук, отдела «церковно-экономического», и как ни странно звучит выражение «юридическое и политико-экономическое богословие», но на деле такое богословие существует! Мало того! Есть даже (особенно в католицизме) военное или рыцарское, крестовое богословие.

Причина такого искажения слова Божия заключается в том, что сами служители слова выделились в особое сословие; оттого и богословие стало особою наукою, замкнулось в особый отдел каталога, в особые факультеты, в особые ученые общества, в общества «любителей духовного просвещения» и проч. Между тем богословие должно занимать не особое место в каталоге, а *в себе* давать место *всем* книгам, быть распределением их, назначением им места относительно высшей цели; оно должно быть примирением их для этой высшей цели. Нынешние богословские сочинения сами себя лишают универсальности, или вовсе отвергая другие предметы, или давая им место лишь около себя, а не в себе. Конечно, образование духовного сословия имеет свои причины, и потому уничтожено оно быть не может, но нужно же узнать, от чего зависит такое отделение, а не оставаться равнодушным зрителем, не коснеть в слишком явном противоречии: признавать закон Божий *всеобщим* и в то же время *выделять* его в *особое* место!

С тех пор как знание отделилось от богословия, которое раньше объединяло его, и само знание, естественно, стало распадаться, а то, что было единством знания, что служило объединением ему, составило особый, отдельный факультет или даже особое учреждение, академию (духовную), как что-то противоположное университету (т. е. знанию); точно так же и университет, вообще свет-

ская наука стали противоположны академиям и богословию. Закону Божию, божественному порядку, отделена была особая область, а все прочее знание восхотело повиноваться своему закону, которого не нашло и до сих пор. Но с выделением богословия в особый отдел, все остальные области ведения не обратились еще чрез то в царство безбожия; в действительности Бог является не в богословском только отделе, но и в других, что указывает, с одной стороны, на несовершенство классификации родов знания, а с другой — на невозможность царства безбожия.

В сущности, светское и духовное составляют не два царства, а одно; это две односторонности, две отвлеченности, насильственно отделенные, искусственно отвлеченные одна от другой. Сознание этого если еще и не есть само примирение, то все же путь к нему, проект примирения. Даже при воссоединении только догматического и нравственного богословий догмат Триединства становится уже и заповедью; таким образом является первый очерк проекта примирения, план общества, создаваемого не по типу животного организма, а по образу Пресвятой Троицы. Философские системы можно также считать попытками восстановления единства, но единства теоретического, а между тем теоретическая философия не может дать истинного единства, если сам мир и общество не примут форму братства, т. е. если теоретическая философия не станет проектом, не перестанет, следовательно, отделять, по примеру богословия, философии теоретической, разрешающей вопрос, «почему сущее существует?», от нравственной, указывающей на долг, на обязанность. Отделению теоретической философии от нравственной нужно приписать и то, что ни одна философская система не получила общего признания. Философские системы отражались на каталоге, на распределении книг, т. е. и философские системы и каталоги подчинялись самой жизни, которая выдвигала тот или другой класс людей. Так в прежнее время преобладало, например, художество, и являлись музеи художественные, увеличивался отдел книг художественного содержания. В наше же время преобладает промышленность, и вот являются музеи политехнические, промышленно-художественные, выставки предметов, по непрочности своей заслуживающих названия тряпок, по ненужности же не стоящих даже и тряпок (Примеч. 10-е).

Каталогизация есть попытка соединить в одну книгу, в «библию» все книги, а самый каталог есть как бы оглавление этой книги. Попытка дать классификацию книг, привести их в систему, могла бы быть всеобъемлющею философскою системою, если бы только она была вообще возможна. Невозможность же ее заключается в самой жизни, которая также не представляет единства. Для нас возможна, следовательно, не классификация книг, а проект объединения в жизни, в которой распадение тем временем все увеличивается. Потому-то и самые библиотеки не представляют уже единства, а распадаются на специальности и делаются принадлежностями особых сословий и даже профессий и единство уничтожается в самой книге, а с нею и в самой мысли. Точно так же и музей вообще распадается, получая презрительный смысл хранилища вещей негодных, хлама, ветоши. Каждое учреждение не может не иметь вещей, вышедших из употребления, и может хранить их, но может и выбрасывать, и даже должно будет, наконец, бросать их по недостатку места. Физические и химические институты, обсерватории и т. п. имеют склады таких вещей, и каждая старая церковь имеет свой музей на чердаках и т. п. местах, что, конечно, почти равняется выбрасыванию. Но если музей в его полноте и ясной систематичности невозможен, то потому именно, что нужно и возможно *воскрешение* всего умершего, а не вещественное только или мнимое его *изображение*. И понятно! Пока будет человек ставить себе образцом животное, т. е. жить только настоя-

щим, видеть свою цель единственно в наслаждении, до тех пор и распадение будет идти в возрастающей прогрессии и нельзя будет сообщить единства ни знанию, ни искусству, ни вообще деятельности человеческого рода, и тем более невозможно будет водворить единство между настоящим и прошедшим, между детьми и отцами; род человеческий будет делать то же, что и природа, которая прахом отцов питает потомков; да человек отчасти уже и делает это: образами отцов он покрывает горшки.

Музей есть выражение памяти общей для всех людей, как собора всех живущих, памяти, неотделимой от разума, воли и действия, памяти не о потере вещей, а об утрате лиц. Деятельность музея выражается в собирании и восстановлении, а не в хранении только; он не может быть пассивным, страдательным, равнодушным выражением раздора и безучастным к утратам, из него происходящим, он не может быть и собором идеалистов, безучастных к раздору и к утратам, живущих воспоминаниями внемирного существования и жаждущих возвратиться в него, как это было в музее Платона. Музей не может быть собором и реалистов, поддерживающих то самое, что производит раздор и утраты, не может быть он, наконец, и хранителем памятников раздора, как это видим в товарных кабинетах, промышленных музеях, юридических архивах, служащих выражением не памяти доброй, а злопамятства.

Музей не может быть собором только ученых и художников; он не исключает себя из Царства Божия, напротив — орудие закона Божия. Что христианство произвело внутренне, идеально, духовно, то музей производит материально. Музейское знание есть исследование причин небратского состояния, как ближайших, так и дальних, второстепенных и основных, общественных и естественных, т. е. музей заключает в себе всю науку о человеке и природе, как выражение воли Божией и как исполнение проекта отечества и братства. Таким образом, музей не сокращает пределов знания, а только уничтожает разрыв между знанием для знания, как это ныне есть, и нравственностью, ограниченной в настоящее время личным и временным делом. Исследование причин небратского состояния и есть обнаружение причин страдания и смерти, препятствующих людям разных классов и народов составить один музей-собор; это исследование причин разделения между «специалистами»-знатоками и народом, т. е. между учеными и неучеными. Это не социология, не социальная механика и физика, это наука о небратском состоянии как факте; дело же музея есть собирание посредством исследования причин небратского состояния, и это тоже — не социология, а братское дело, не республика (*res publica*), а ресфратрия (*res fratris*)<sup>8</sup>, осуществление братства.

Собирание научное, при коем наука не отделяет себя от нравственности, т. е. собирание посредством исследования причин небратского состояния, есть самый простой, естественный, единственно возможный путь к осуществлению братства, путь, который до сих пор даже и не испытан, а между тем вера в осуществление братства, как это ни странно, почему-то уже утрачена. Хотя братьями уже рождаемся мы, но для сохранения и еще более для восстановления братства, для устранения причин, разрушающих братское чувство, нужно *знание*, управление естественною, рождающею силою, нужно *взаимознание*. *Братство, как и жизнь, есть дар рождения, но для восстановления, как и для сохранения того и другого, нужен труд*; так что *братство и бессмертие могут быть результатом только труда*. Известно, как легко братская любовь переходит в братскую ненависть, и последняя не может быть даже сильнее первой. Самые ожесточенные войны ведутся между народами, наиболее близкими по родству, по крови, а междоусобные войны — наиболее ожесточенные. Слушая проповеди о братстве, люди умиляются, плачут, а между тем продолжают жить по-пре-



жнему; некоторые раздают свое имущество, идут на казнь, и даже многие готовы сделать то же самое, а между тем тот же порядок, та же рознь, и даже еще несравненно худшая, продолжают господствовать. Как же не задаться вопросом о причинах такого явления?.. Человечество, можно сказать, постоянно оплакивает свою рознь, а между тем ни одна секта не прожила и нескольких дней в братском согласии; даже сами проповедники братства не могли удержаться от ссоры (Примеч. 11-ое). *Для осуществления братства нужна вся наука, т. е. организованная совокупность умственных усилий всех людей. Братство состоит не из одного только чувства братского, но и из братского знания (взаимознания) и из братского действия — воскрешения. Сделать из исследования причин небратского состояния предмет знания всего рода человеческого, из восстановления братства задачу искусства — значит поставить истинную цель всей жизни.*

Исследование причин розни делает ненужными соборы, созываемые для споров о примирении. Догматические и обрядовые прения если бы и могли привести к миру, то лишь к такому, который не исключает ни вражды, ни войны между единоверными народами, а следовательно, не имеет и значения. В этих спорах особенно ясно выражается необходимость исследования истинных, действительных причин вражды, ибо предметы исключительно так называемых религиозных споров (напр. об исхождении Св. Духа, о перстосложении и т. п.) сами по себе не объясняют вражды. Нынешний ум настолько, по видимому, созрел, что трудно становится понять, как могут еще продолжаться споры между философскими школами, между спиритуалистами, например, и материалистами, между идеалистами и эмпириками. Не трудно, по видимому, было бы согласиться, что каждая из этих школ имеет свои причины существования. То же самое нужно сказать и о политических спорах, например между партиями аристократической и демократической: спор между ними может продолжаться до бесконечности, так как каждая из них имеет свои причины существования и ни одна из них не заключает в себе полного блага, как и ни одна из философских школ не заключает в себе полной истины. Только родство (братство) исключает и аристократизм, и демократизм, а воскрешение (отечество) соединяет спиритуализм и идеализм с эмпиризмом и материализмом. Партиям всякого рода недостает исторической почвы, чтобы понять свое ложное положение. Музей же, как создание истории, и притом истории, для коей факт борьбы — не святыня, не идол, для коей, напротив, примирение борющихся составляет задачу и проект, — такой музей соответствует потребности всевозможных партий, заключающейся в том, чтобы понять свое ложное положение, примириться и таким образом устранить разделение на партии, окончить рознь и борьбу, ведущие к страданию и смерти.

Вера и надежда на возможность единомыслия и единодушия в роде человеческом давно утрачены; невозможность единства считается неоспоримой истиной, а между тем его необходимость становится с каждым днем все очевиднее, потребность в нем чувствуется все сильнее. Несмотря, однако, на это, не сделано ни малейшей попытки к осуществлению единства путем знания, путем исследования причин розни, а даже принимаются все меры, все средства к поощрению разномыслия. Чтобы иметь право на отчаяние, нужно было бы употребить сначала все возможные усилия для достижения единства, а между тем все попытки к осуществлению его ограничивались главным образом одною областью чувства веры, т. е. попытками религиозными, разум же и его воплощение — наука считали своею задачею только постигнуть единство, да и то отвлеченно, а не осуществлять его; равным образом и воспитание не задавалось должною целью, а искусство даже и не ставило себе подобной задачи. *Музей есть первая*

научно-художественная попытка собирания или воспитания в единство, и потому эта попытка есть дело религиозное, священное; это призыв на службу отечеству, призыв всеобщий, всех без исключения, начиная с детского возраста, причем осмотр призываемых превращается в многолетний курс исследования, связанный с воспитанием в Кремле, как самородном музее, восстановленном и приспособленном к воспитанию призываемых для участия не в *борьбе* только с себе подобными, на которую возможно решиться лишь в последней крайности, но главным образом в *примирении* двух половин мира, континентальной и океанической. Существуют различные специальные воспитательные учреждения, как-то: военные, коммерческие и т. д.; но существует ли *общее* воспитательное учреждение, которое объединяло бы эти специальные учреждения, было бы высшим относительно их? Для общего образования считается достаточным иметь одни средние учебные заведения, для поддержания же единства по окончании их курса не признается необходимым устраивать еще какое-либо высшее воспитательное учреждение; только для отдельных специальностей признается нужным иметь высшие курсы, для всеобщего же объединения никакого высшего курса не полагается.

В исследование причин небратского состояния, кроме изложения условий, при коих возможно братство, входит изучение и причин, препятствующих соединению людей в общем отеческом деле. Кроме самого дела, необходимого для того, чтобы человечество стало братством, нужно еще раскрытие причин, делающих людей не только не братьями (что происходит от забвения отцов), но даже и врагами.

Небратские отношения можно подвести под следующие разряды: 1) *наиболее небратские*: а) *гражданские* (юридические), в которых не считаются предосудительными тяжбы, договоры, контракты и т. п.; б) *экономические* (или купеческие), выражающиеся в купле и продаже; 2) *к менее небратским* можно отнести: г) *товарищеские*, например между военными, во время войны — в особенности.

Между небратскими и братскими отношениями можно поставить *патриархальные*, деревенские, сельские; они не могут быть названы братскими, потому что еще не исключают вражды, но живущие в патриархальных отношениях все же не отреклись и от братства; если и между ними оно не существует, то потому, что у них нет в руках всех средств знания, с помощью коих можно было бы установить действительно братские отношения.

К *братским* отношениям можно отнести: а) *несовершенно-братские*, основанные на чувстве и привычке, и б) *совершенно-братские*, те, что основаны не только на чувстве, но и на знании и на участии в отеческом деле; это — тоже товарищество, но предметом его является всемирное дело.

*Противобратские отношения* суть такие, которые даже и юридически осуждаются, признаются преступлениями, как убийства, кражи и т. п. Причины противобратских отношений, способных превращаться даже в *противобратские состояния*, можно свести к двум главным: 1-я причина — сельская, это — голод; 2-я же, городская — золото, под которым разумеем все соблазны, вызываемые художественно-мануфактурною промышленностью.

Как открытие золота, так и голод производят одно и то же действие: разрывают всякие узы, связывающие людей. Из истории известно множество примеров, когда голод доводил до того, что матери съедали своих детей; но к чести человечества нужно сказать, что до такой крайности доходили редко, люди решались лучше обманывать свой голод, ели что попало, отбросы даже, ремни, наконец, свои экскременты. Казалось бы, что самым разрушительным образом на связи людей должен действовать именно голод, на самом же деле оказывае-

тся, что открытие золота несравненно превосходит в этом отношении самый ужасный голод. Последний не приводил еще к тому, чтобы войско, находящееся, например, в осаде, целыми отрядами забывало дисциплину; открытие же золота в Калифорнии привело именно к тому, что целые команды оставляли корабли.

К небратским состояниям принадлежат все классы людей, от ученых и художников до земледельцев. Причины небратского состояния понять легко, если мы представим себе, как трудно человеку забыть, что он сын, когда родители его умерли. Если же так легко забывать об отцах, то братство, связь между братьями, которая могла бы держаться только заботою о родителях, столь же легко забывается или, иначе сказать, разрушается; забота же каждого брата о своих собственных детях может только помогать скорейшему расторжению уз братских. Отсюда видно, что братство между людьми будет только тогда, когда все знание человеческое станет наукою об отцах, а все искусство, т. е. *все дело человеческое, будет иметь своим предметом отцов*. Человечество может стать братством лишь тогда, когда наука будет вопросом не о том, из чего все в мире возникает, а о том, во что все обращается,— вопросом о смене поколений, объясняемой распадением миров, не регулируемых разумною силою; т. е. когда наука о мире будет не отвлеченной физикой, а сделается астрономией, которая для первобытных людей и была мысленным отцетворением, должна же стать отцетворением действительным. Когда небо считалось отечеством, куда уходили умершие отцы наши, тогда наблюдавшие его чувствовали себя сынами; тогда не могло быть и вопроса о цели и пользе небознания, так же, как не могло быть и раскола, разъединения в мысли, в знании человеческом, имевшем одну явную цель. Человечество станет братством, когда астрономические обсерватории будут иметь в виду не знание только связи и разъединения миров, а поставят своей целью и проектом регуляцию и воссоединение миров, когда атмосферная регуляция будет проектом метеорических обсерваторий, когда плесень, покрывающую могилы отцов, признают предметом науки не о корме, т. е. ботаники (по этимологическому значению этого слова), а о материале и орудии восстановления тел отцов. Словом: *человечество будет братством лишь тогда, когда все знание получит бóльшую глубину и широту, когда вся наука и все искусство станут отеческим делом; только наука и искусство в смысле отеческого дела могут обратить человеческий род в братство*.

Что касается забвения отцов, то нет ничего удивительного, если наше время находит его весьма натуральным и в подтверждение естественности такого забвения указывает на наших дальних предков, у которых всякая связь с родителями обрывалась с окончанием кормления, так что для них отцы были только кормильцы. Но замечательно, что даже для оправдания забвения ближайших нужно было вспомнить о самых дальних наших предках, о таких, которых и предками нельзя даже назвать, потому что между ними не было ничего родственного, не было именно того, что служит признаками человечности, так как кормилец — еще не отец и питомец еще не сын. Для животной природы забвение отцов, быть может, и естественно, для человеческой оно совершенно неестественно, до такой степени неестественно, что даже вражда, возникшая по забвению отцов, начавшись с личной перебранки (и не между отдельными лицами, а между целыми родами и народами), усиливаясь, переходит к брани отцов, матерей и т. д. Таким образом сама вражда заставляет вспоминать отцов и предков; даже и она нудит человека вспомнить, что он — сын. Когда же, поднимаясь по генеалогической лестнице, не успеют открыть действительного своего предка, тогда выдумывают его. Вражда заставляет враждующих превозносить своих отцов над отцами врагов, унижать, позорить отцов сих последних.

Человек тем и отличается от животного, что он сознает, чувствует себя сыном. Искание отцов для человека — то же, что для ученого искание причины; но отдавать преимущество изысканию причин пред исканием отцов — значит доказывать, что наука не может быть ничем, кроме знания для знания, и должна быть привилегией одного только класса людей, это равносильно ограничению разума. Из двух великих поэм древности одна названа учеными «Илиадою», борьбою за Илион, на самом же деле она — плач о смерти отцов-героев. Другая же — ученые видят в ней только приключения, похождения Одиссея, тогда как на самом деле она есть отыскивание отца. Эти поэмы потому и велики, потому и получили значение священное, что в них нашло выражение чувство сыновнее. И вообще литература может быть или священной, когда она есть то, чем были «Илиада» и «Одиссея» в действительности, или же она делается светскою, когда обращается в рассказ о борьбе, или о похождениях и приключениях, словом — в роман (понимаемый в обширном смысле). Именно в роман и выродилась современная литература. Вообще же должно сказать, что литература священная имеет в виду смерть отцов, тогда как светская занимается только жизнью, только рождением, поэтому в ней и играет такую преобладающую роль любовь чувственная.

Народы в несчастьи обращаются к прошедшему и там ищут утешения. Музеи служат выражением такого чувства. (Пример: немцы во время Наполеона 1-го — начало Берлинского музея<sup>9</sup>.) Освобождение, возрождение народов начинается основанием музеев; нынешняя Греция начала (1812) с этого свое освобождение<sup>10</sup>, основанием «матич» началось возрождение и славянских народов<sup>11</sup>. Вообще существование музеев доказывает, что сыны еще есть, что сыновнее чувство еще не исчезло, что остается еще надежда спасения на земле. Мысль об общем отце возникла тогда, когда вражда достигла крайности. Мысли об общем отце, т. е. о Боге всех отцов, и о всеобщем братстве тогда и возникают, когда вражда распространяется на большие группы людей, когда сношения делаются хотя и всемирными, но всемирно-небратскими (торговые сношения, международные). Вопрос о всемирной вражде или противобратском состоянии может быть выражен двойным отношением села (земледельческой страны) кномадам (по преимуществу — кмагометанам) и к городу (к Западу, ближнему и дальнему). Пока вне земледелия существуют кочевой и городской быт, до тех пор вражда неизбежна; кочевой быт, впрочем, хотя и медленно, переходит в земледельческий, но второй быт, городской, расширяется за счет села, мануфактурная промышленность за счет земледелия. В кочевом состоянии вражда проявляется в отношениях родов между собою (грабеж, баранта<sup>12</sup>, родовая месть) и в грабительских к оседлому населению. В городах же существует братство только семейное и, судя по литературным произведениям, противобратские отношения возбуждают в горожанах ужас тогда только, когда такие отношения проявляются между ближайшими родственниками; так что горожане не видят уже ничего ужасного в противобратских отношениях лиц, которых они не считают родственниками, как это признает, например, один из первых вождей современного гуманного «просвещения», Лессинг. «Если враг страдает от другого врага (или, точнее сказать, когда в таких отношениях находятся люди, чуждые друг другу, не связанные ни дружбою, ни родством), то пред нами происшествие *весьма обыкновенное*, — говорит Лессинг, — и потому оно не так сильно возбуждает в нас сострадание»<sup>13</sup>; другими словами: мы остаемся равнодушными *к весьма обыкновенным происшествиям*. Но это-то и ужасно, что сострадание и ужас возбуждают в нас уже только такие трагические, сами по себе страшные столкновения, которые происходят между друзьями или близкими родственниками. Еще один шаг в этом прогрессивном движе-

нии — и даже и эти последние столкновения станут также обычными происшествиями, и они будут приниматься равнодушно! Хуже всего в этом то, что и самая мысль современная сузилась и не задается уже вопросом о причинах такого ненормального состояния; объяснить же судьбу характера еще не значит раскрыть причины «трагических» явлений: необходимо уяснить и то, какие именно причины обуславливают склад самих характеров.

*Город есть совокупность небратских состояний, удерживаемых небратскими узами.* Прогресс города или городского организма состоит в постоянном увеличении числа небратских состояний (новые виды промышленности и т. п.). На ученом, т. е. опять-таки небратском, языке это называется дифференциацией деятельности. Вместе с нею дифференцируются и небратские отношения, а также и противобратские, изобретаются новые способы краж, мошенничеств и т. п. К интеграции же (по терминологии той же науки), отделяющей нравственное от умственного, нужно отнести усиление надзора (полиция — это как бы нервная система города). Город есть гражданско-полицейский организм, а не союз лиц, понимаемых, как братья; город таков потому, что он не имеет отеческого дела, память у него — хранилище (музей), которое не имеет ни единства, ни полноты. То, что должно бы быть музеем, заменяется особыми учреждениями, которые даже и не подозревают возможности или, вернее, необходимости единства.

Земледельческий быт, известный нам ныне только в измененном под влиянием города виде, также не может быть назван братским. Хотя земледельческий быт и продолжает служить отцам, но не действительно, потому что он не обладает музейскими средствами, орудиями памяти, разумея под ними и средства сообщения и вообще все орудия действия, кроме тех, которые производят раздор и которым нельзя дать иного назначения. Зная село лишь в измененном виде, в его невежественной форме, мы совсем не знаем села, как проявления знания и прежде всего — естествознания.

Вопрос о внешних причинах вражды сводится, следовательно, к вопросу о превращении кочевого и городского состояний в земледельческое, т. е. в то самое, которое требуется и для осуществления дела отеческого, ибо естествознание в приложении к земледелию превращается в воскрешение. Уничтожение внешних причин вражды и восстановление внутреннего согласия сводятся к одному и тому же делу. Вопрос о городе, несмотря на то, что город есть источник зла, еще не осознан и не поставлен до сих пор должным образом. Даже та страна, которая, видимо, хуеет и уже сознает, что причина ее худобы — городская жизнь, не решается выдвинуть городской вопрос во всем его значении. В этой стране предлагаются разные меры для уменьшения прилива сельского населения в города, но еще не дерзают усомниться в достоинствах самого городского быта, его идеала: *maximum'a* роскоши и *minimum'a* труда или одним словом — «*otium cum dignitate*» (праздность с достоинством) (Примечание 12-ое). Франция знает, что соблазны городской жизни с одной стороны, а с другой — филлоксера, засухи, ливни, весенние холода, убивающие цвет на деревьях, гонят сельское население в города; и тем не менее Франция не признает соблазнов города злом, а засухам, ливням и т. п., всему коренному злу, грозящему гибелью не только селу, но и самому городу, она не придает даже настолько серьезного значения, чтобы сделать эти бичи земледелия задачей хотя бы одного только естествознания, не говоря уже об обязанности города почувствовать бедствие села во всей его силе, сделать его предметом всей своей думы, всего знания, а не одного только естествоведения, так как гибель села, несомненно, будет гибелью и города. И что значат перед таким злом усилия какого-нибудь одного или нескольких ботаников, одного или нескольких энтомологов, уделяемых в на-

стоящее время городом селу для исследований! (Примеч. 13-ое.) Обратив хотя бы только естествознание из городского в сельское, город уже этим одним уменьшил бы соблазны городской жизни, поддерживаемые искусственными приключениями городского естествоведения. Вопрос городской был бы поднят, если бы только признали, что знание может служить не для одних соблазнов; ибо в настоящее время весь разум, все умственные силы, привлеченные в город, служат только соблазнам, а село остается беззащитным. Перемещение разума в село избавило бы город от искушений, производимых мануфактурною промышленностью; город, очищенный от них, стал бы селом, а село, вместо мнимых средств для защиты от бедствий, получило бы действительные к тому средства. Город, сделавший предметом своей думы село, город, который даже из нынешних своих музеев (если бы только они были верным изображением прошлого и настоящего) может узнать о своем происхождении от села и о всех своих против села неправдах, стал бы такою именно комиссиею, таким собором, который выше описан под именем музея, объединившего все естествоведение в знание всей земли как планеты, без выделения растительной и животной жизни из общего процесса жизни земли, процесса, который метеорологии, например, не ставит целью только предсказание погоды, а делает из нее и орудие регуляции ливней, засух и прочих явлений, производящих бедствия в настоящее время, когда вызывающие их силы оставляются без управления. Но если западный город может узнать из своих музеев о своем происхождении от села, то мы из наших музеев узнаем, что наши города не вызваны даже и естественною необходимостью, а созданы чисто искусственно и даже насильственно, и что они притом очень недавнего происхождения; у нас городской вопрос, можно сказать, почти сливается с вопросом об отхожих промыслах. Хотя поводом и к нашему городскому вопросу служат те же причины, по которым он возникает и на Западе, хотя и у нас те же причины гонят поселян в город (т. е. соблазны с одной стороны и бедствия с другой), все же наши крестьяне не делаются еще пока постоянными жителями города, а составляют лишь временное его население, и вопрос об отхожих промыслах был бы совершенно тождествен городскому, если бы из временного населения не образовывалось постоянное.

Итак, когда город начнет сознавать свою вину перед селом и сокращать производство соблазнов, не посвящая уже всей жизни заботам о настоящем, тогда начнется создание истинного музея или объединение существующих, т. е. восстановление предков, общих и городу, и селу. Когда же дума города обратится к тем естественным бедствиям, от которых страдает село и которые вообще являются причиною смерти, тогда к историческому музею присоединится и музей естествознания во всей полноте последнего. Когда же раскроются причины небратского состояния, вследствие исследования их, тогда и сам город делается братством, а частные жилища превратятся в службы музея.

Исследование — дело не новое, сознание же небратского состояния мира — еще более старое; в своем объединении же оба эти термина приобретают совсем особое значение. Исследование, когда оно обращено на причины небратского состояния, перестает быть обличением; оно никого не призывает к себе на суд, оно совершенно противоположно исследованию, создавшему реформацию и революцию, противоположно ему по порождающему его побуждению, по средствам и по цели; отлично от него оно и по самому существу, потому что оно — исследование не отвлеченное, а вооруженное всеми музейскими орудиями памяти, не отделяемой от разума; притом же это исследование не может быть личным, одиночным, оно осуществимо только совокупными усилиями людей, иными словами: *исследование причин небратского состояния может быть только братским*. Оно возникает из раскаяния, из сознания раскола ме-

жду людьми, разрыва, по уму, по чувству, по действию, словом — по душе, вследствие чего мы и не составляем общества для всеобъемлющего знания, действующего по единому плану.

Исследование, вытекавшее из сознания своего достоинства и действовавшее в реформации и революции, было обвинительным актом против духовной и светской власти. Представители этого исследования, не замечая, по видимому, что власть создается нашими же раздорами, хотели уничтожить следствие, не касаясь причин. Исходом такого исследования было насилие, которым обвинители хотели привести в исполнение свой обвинительный акт, получивший в их глазах силу приговора. Но никакое насилие произвести братства не может; а потому понятие братства, поставленного на знамени революционном, ничем не отличалось от понятий юридических и экономических, тогда как на деле оно им совершенная противоположность. Исследование причин небратского состояния есть именно изучение причин, ставящих людей в юридические или гражданские и в экономические или купеческие отношения. Самое же важное отличие братства, возникающего из исследования причин небратского состояния, состоит в том, что оно — братство не по одному чувству, но и по уму и воле, по знанию и действию. Исследование причин небратского состояния, т. е. восстановление братства и отечества, приводит к тому, что светское не только перестает быть противоположным и враждебным религиозному, но становится само деятельным орудием религии.

Исследование, как *всеобщее*, есть обращение к единой, высшей религиозно-нравственной цели дум, представлений и грез о мелочах исключительно личных, что свойственно каждому человеку и без чего ни один человек обойтись не может, но что без сказанной цели остается работою бесплодной, бесполезным растрачиванием сил. Дать священное направление мысли человеческой и ставит себе целью собиране всех людей в общий отеческий дом, в музей, в дом Отца Небесного, Бога всех земных отцов, в дом, который, будучи музеем, есть в то же время и храм. Музей, как мы видели, не может быть только хранилищем, он должен быть и исследованием; это — *собор всех ученых обществ*. С другой стороны, музей не может быть ни читальнею, ни зрелищем, он не должен служить для пониженного, так называемого «популярного» образования. Таким образом, музей становится между учеными, производящими постоянную, систематическую работу исследования, и всеми учебными заведениями; посредством их он собирает всех неученых и все младшее поколение, чтобы ввести их в область исследования, производимого учеными. Иначе сказать, музей есть исследование, производимое младшим поколением под руководством старшего (Прим. 14-ое). Он может быть открыт для всех только путем учения; вход в него ведет чрез учебные заведения, чрез которые только и может производиться собиране, так как *воспитание и есть само собиране*. Если музей не будет *высшим*, окончательным для всех низших и средних учебных заведений и *общим* для всех специальных (специальные учебные заведения сами по себе, в своей обособленности, не могут считаться завершением низших и средних учебных заведений), то он не будет не только отеческим, но и публичным, он останется «закрытым». А потому музею, сознающему свою замкнутость, изолированность и отвлеченность, не безразлично положение ведущих в него узких путей коридоров. С другой же стороны, и специалисты, сознающие свою разобщенность, при стремлении к общению, к целостности, не могут быть равнодушными к положению музея. Всякая специальность имеет для себя высшее учебное заведение, почему же общее единство не имеет высшего учреждения? Вот до какой степени единение признается ненужным, стеснительным для индивидуальности, для личной свободы! (Примеч. 15-ое.)

Учение о единстве и есть религиозное учение, только оно и может примирить тех, которые не хотят допустить преподавания религии в школе, с теми, которые не мирятся с изгнанием религии из школы. В обращении учения о единстве в религиозное и выразится междуисповедное, междусектантское значение музея; православие же, как сокрушение о розни, как печалование, найдет в нем свое выражение. Вступление воспитанников каждого специального (и потому небратского) учебного заведения в музей, совместное их там пребывание, самое исследование причин небратских отношений, находящихся во взаимной зависимости, создание этим самым проекта братства, и будет то самое на деле, что выражается в догматико-нравственном учении или заповеди о Троиединстве и искуплении. Тогда то самое, что так трудно было представить в теории, что недоступно было и для искусства (и трудно потому, что оно не может быть выражено в мертвом материале, не может быть и предметом только теории), будет выражено на деле. Тогда вступившие в музей, сознавая в историческом музее вину города перед селом и вообще перед предками и проникаясь чувством утраты, примут в музее естественном (физическом) участие в создании способов искупления села от естественных бедствий и вообще способов искупления и воскрешения предков. И таким образом музей будет действовать *душеобразовательно*, делая всех и каждого существом *музео-образным*.

Музей разрешает то противоречие нынешней жизни, по которому для большинства окончательное образование дают даже не средние, а начальные учебные заведения, вследствие чего умственное развитие большинства приостанавливается или совсем прекращается в такой период, когда разум едва пробуждается. Но если начальное делается окончательным, то и высшее становится только специальным, особенным, а не общим делом. Начальные заведения дают теперь окончательное образование потому, что фабрика нуждается в детском труде; а так как фабрика и вообще город нуждаются также в специалистах промышленных, в специалистах по надзору и суду, то и высшее образование не может стать общим.

*Единство не может, однако, быть специальным предметом знания, особою наукою, философиею; оно не может иметь и особых учителей. Единство должно быть предметом знания и воспитания всех, и ученых, сделавшихся учителями, и учителей, сделавшихся учеными. Учителя должны быть действительными членами музея-собора, а ученые должны быть преподавателями учебных заведений, так что музей должен соединить в себе все учебные и ученые заведения и общества (Примеч. 16-ое). Преподавание в музее, как общем для специальных и высшем для средних и низших учебных заведений, будет только теориею того, чем воспитанники этих заведений станут уже с самым вступлением в музей; он окажется уяснением того единства, в котором они уже будут находиться, той задачи и цели, к осуществлению коих они призваны. Специальные учебные заведения, как-то: военные, коммерческие и проч.—вносили бы рознь, а не единство, если бы их дело, как членов всеединого музея, не было исследованием, т. е. раскрытием временности, переходности или, лучше сказать, переводимости этого вида небратских состояний в братские. При таком же исследовании эти учебные заведения сделаются факультетами музея, а сам он в отношении к ним станет университетом, т. е. воистину всеобщим единством, тогда как нынешний университет и для тех немногих ветвей знания, которые в нем еще сохранились, не представляет единства знания; он имеет юридическое только единство, это — административная единица, а не единство знания.*

Музей и в настоящее время открыт для воспитанников учебных заведений и для воспитателей, наставники и в настоящее время могут руководить занятиями в нем воспитанников и сами заниматься в нем исследованиями. Музей



открыт и для ученых, и эти последние могут, занимаясь сами научными работами, не отказываясь в советах и учащимся. Таким образом, казалось бы, стоит лишь обратить эти случайные явления в постоянные, всеобщие, систематические, для того чтобы музей стал, как сказано, высшим для низших и общим для специальных учебных заведений. Между тем, музей не может сделаться ни тем, ни другим, если ограничит свою задачу только исследованием и воспитанием.

*Но каким же образом музей может быть действительным единством для специальных учебных заведений? и могут ли последние стать орудиями объединения, собирания?* Это могло бы быть, если бы сами специальные заведения не представляли бы таких же небратских учреждений, как те состояния или сословия, к которым они приготавливают; если же эти небратские состояния сами совершенно не чувствуют потребности к переходу в братское, то и музей не будет единством и отечеством. Но тем не менее не чувствовать этой потребности невозможно, пока существует семья (Примеч. 17). Пока она есть, существуют, как никак, отеческие и братские отношения; до тех пор будет, следовательно, существовать и противоречие между положением человека в семье и вне семьи (т. е. в обществе гражданском, политическом и экономическом) и такое противоречие будет требовать решения противоречия. В молитве «Отче наш» (т. е. Бог отцов наших, умерших, и Бог наш, т. е. нас, живущих) мы просим о пришествии именно этого Царствия Божия, *общей семьи. Церковь и станет этим царствием, если признает исследование, т. е. если она не будет отвергать разум в деле восстановления братства.* Будет этим царством и музей, если целью своего исследования поставит отечество и братство.

Но так как в настоящее время не дано никакого выхода, не открыто никакого пути к братству, то и винить нельзя те классы, сословия, которые безраздельно отделились своему особенному, специальному, небратскому делу. Чтобы быть музейскими членами-исследователями, нужно иметь некоторую подготовку; нынешние же учебные заведения таковой дать не могут, потому что не имеют в виду этой задачи (впрочем, они и вообще никакой задачей не задаются, чем и объясняется тот низкий уровень, на котором они стоят). Должная подготовка будет возможна тогда, когда исследование причин небратского состояния и достижение братства будут поставлены *всеобщей целью всех людей*, т. е. не учащихся только, но и людей всех должностей и профессий, всех ныне небратских состояний. *Только постановкою этой цели разрешится противоречие между положениями человека в семье и вне семьи*, между стремлением его к братству и небратским состоянием мира. Если же музей будет состоять из всех должностей и профессий (пока только интеллигентных), которые в качестве членов музея будут подвергаться исследованию с точки зрения родственной то самое, что они вынуждены и обязаны делать вне музея, т. е. если они будут в совокупности отыскивать, на основании всех данных, добытых их практикою, причины, вынуждающие к неродственным действиям, как-то: быть судьями своих братьев, быть купцами, торгашами с своими родственниками и т. п., — в таком случае музей будет удовлетворять этой естественной потребности, которую чувствует всякий человек, сознающий ненормальность своего небратского положения и желающий выйти из него. Музей даже открывает исход из этого противоречия, не им созданного, а всегда существовавшего и постоянно все более и более усиливающегося: разве осужденному или принужденному всегда судить, не естественно желать выхода из этого состояния, но выхода действительного, такого, при котором не пришлось бы передавать другому это небратское, нравственно-тяжелое дело и где уменьшилась бы самая нужда в этом, в деле осуждения и наказания? План устранения причин, производящих необхо-

димось юридических отношений, не только свят в нравственном отношении, но он глубокий и широк также и в умственном отношении, в сфере знания. Суд имеет грубое, непосредственное отношение к явлениям действительности, взятым в их *отдельности*; означенный же план обнимает частные явления в их *совокупности*, в обширном по времени и месту объеме, проникая до глубочайших причин явлений юридического, небратского свойства. По мере того, как план будет приводиться в исполнение, противоречие между музейским и внемuseumским будет уничтожаться...

Вместо того, чтобы сознание этого ненормального отношения, смутно чувствуемого более или менее всеми, забывать за карточной или иной игрой, топить в вине, в морфии, или даже в искусстве, в беседе с книгами (что тоже не реальное занятие), не лучше ли иметь в руках такое дело, целью коего было бы устранение всей этой ненормальности? Последняя может быть разрешена только или совершенным уничтожением семьи (социализм) или же полным восстановлением родства. Сдача всякого дела в музей есть пересмотр его в духе отеческом и братском, в последней инстанции. Музей есть церковь, но такая, которая обещает не успокоение от тревожений жизни, как платонизирующее христианство, и не нирвану, как буддизм, а делает всех участниками умиротворения. Если музей, с одной стороны, принимает в себя людей всех интеллигентных должностей и профессий, а с другой стороны и ученые музея принимают на себя соответствующие своим наукам должности или профессии, — в таком случае музей становится в новое отношение к обществу, и *интеллигенция, в нем сосредоточенная, перестает быть только мыслящим классом; она делается учащим и руководящим сословием, и уже не самочинным, а по праву.*

*Музей, как перевод города в село.* Когда ученые станут деятелями, служилым сословием, а служащие всех ступеней — исследователями, тогда музейское дело станет государственным или, вернее, превращением государственного в отечественное. Когда деятели вместе с учеными сделаются исследователями государства, как небратского общества, а исследователи «ученые» вместе с деятелями станут исполнителями проекта братства, тогда музей станет общим местом исследования государства, как братства и неотечества; государство же приступит к применению проекта братства, начнет обращаться в отечество, т. е. в то, чем оно называется уже и в настоящее время, но чего в нем пока еще нет. Содержанием этого дела будет решение всеобъемлющего вопроса о переходе от города к селу. То что было сказано о городе вообще, то самое совершают и музеи всей совокупной системы городов, как уездных под руководством губернских, так и сих последних под руководством центральных. Одушевленные единодушным желанием устранения городских и мануфактурных соблазнов и желанием освобождения от естественных бедствий, города, музеи, или единый музей, входят в союз земледельцев-естествоиспытателей, сынов. *Музей, нераздельно от храма, есть сила, переводящая общество из юридико-экономического строя в родственно-нравственный.* Обращая силы, растрчиваемые в борьбе гражданско-экономической, на общее дело и по останкам, сохранившимся от этой борьбы, восстанавливая образцы погибших в ней, музей воспроизводит погибших телесно, действительно, путем регуляции природы (Примеч. 18).

По существу в этом ничего нет нового, ведь и теперь ученые переходят в деятелей, а деятели пишут исследования, но такие явления не всеобщие и случайны, они совершаются врознь (Примеч. 19), да и самые исследования не доходят до надлежащей глубины; исследуемые явления (юридико-экономические) рассматриваются не как произведения небратского раздора, и это потому, что деятели и ученые не имеют ни общего места для действия, ни общего плана; оте-

ческий дом (музей) дает нам это место, а отеческое дело, требуя братства, дает нам и проект исследования, и план действия.

Если город есть совокупность небратских отношений и состояний, если он употребил разум на разрушение братства, а село, кормя город и отдавая ему лишние силы, не могло употребить разума на сохранение братства и отечества, то, очевидно, вопрос о причинах небратского состояния отождествляется с вопросом о происхождении города, а восстановление братства есть вопрос о примирении города с селом в деле отеческом. Музей, в вышесказанном смысле, т. е. *в связи с храмом*, как сила, переводящая мир из небратского состояния в противоположное, братское, есть сама история, переходящая из бессознательного *хода* в сознательное *действие*; это переход рода человеческого в совершеннолетие, и потому останавливать такой ход невозможно, можно разве только задержать его, замедлить. Распространение исследования (наука, критика) необходимо ведет к совершеннолетию, потому что оно призывает к совокупному самоисследованию; оно заключается в том, что промежуток между совершением события и его исследованием будет все сокращаться, и, наконец, исследование будет следовать немедленно за свершением события, т. е. история совершившегося будет наступать тотчас же по свершении его, т. е. деятели будут сами же и исследователями. В этом и заключается необходимый путь к тому, *чтобы не история наступала за событием, а событие следовало бы за мыслью о нем, чтобы мысль была проектом события*; в этом необходимом пути к тому, *чтобы история, как явление, обусловленное теперь независимыми от нас обстоятельствами, обратилась в наше волевое и планомерное действие*. Переход к совокупному самоисследованию должен совершиться даже и в журналистике; хотя она в настоящее время есть только критика, но именно журналистика должна сделаться могучим орудием собирания в музей.

Несовершеннолетие выражается в том, что еще недоразвившееся человечество, подвергаясь внешнему влиянию, складывается в слепой организм; вступление же в совершеннолетие может выразиться только в самосознании или совокупном самоисследовании и в самоуправлении или собирании сил посредством исследования причин розни. Средства сообщения уже дают человеческому роду возможность прийти к сознанию себя, как единого целого. Хотя постоянного органа для самосознания еще нет, нет даже всенаучного конгресса, а существуют только съезды специалистов по разным наукам в отдельности, но в специальностях не может уже не обнаруживаться сознания отдельности, отвлеченности каждой из них от других, а вместе с этим не может не выясняться и потребность к соединению для составления всеспециального научного конгресса (Примеч. 20). Правда, и специальные конгрессы, необходимую принадлежность коих составляют выставки, еще кочуют, еще ищут себе местопребывания, центра, ибо только в нем они могут сделаться постоянными, всенаучными, совокупностью всех выставок. Но именно поэтому-то постоянный собор и не может не обратиться в музей в смысле и вещественных собраний, т. е. не может не обзавестись разными, соответствующими потребностям, учреждениями, от обсерваторий до археологических коллекций; и как конгрессы даже и в настоящее время уже международны, так и музей будет средоточием всех народов. Но Всенародный Музей не может остаться только знанием, не может он быть и третейским судом для разбора международных споров, так как о суждях международного суда должно сказать то же самое, что сказано о суждях вообще; они должны быть членами музея для исследования причин международных споров и международного раздора, а потому, будучи не только по необходимости, но и по существу своему исследованием причин небратского состояния, музей будет и действием, необходимо связанным с исследованием, т. е. члены

музея должны делаться международными деятелями, как и последние должны стать членами музея. Таким образом Международный Музей по личному составу, кроме ученых, принявших на себя ту или другую деятельность, будет заключать в себе: 1) всех дипломатических агентов, ставших исследователями; 2) купцов международного торга, которых образование должно обратить в исследователей и коих интересы исследования объединят в музее; и 3) военных, переходом которых к музею можно считать конгресс по вопросу о введении метеорологических наблюдений и опытов при стрельбе, особенно пушечной. По вещественному же своему составу музей есть: 1) товарный кабинет, наполняющийся по мере хода исследования товарами, признанными вредными по своей роскоши, по своей способности производить международную вражду; 2) архив международной дипломатии, т. е. архив всех министерств *иностранных* дел как выражения величайшего небратства; 3) военный арсенал (международная оружейная палата), задача коего — применение военных орудий к делу регуляции естественной силы природы и сдача в музей тех орудий, которые не способны к такому прямому применению или же к двоякому употреблению.

Музей в международном смысле есть перевод от правового порядка, неразлучного с международным и всемирно-торговым раздором, в братское согласие. Обращая силы, растрачиваемые в войнах и международной торговой борьбе, на общее отеческое дело, и по остаткам всех орудий (трофеям) борьбы мысленно восстанавливая образы погибших, музей восстанавливает погибших и телесно, действительно, путем регуляции природы.

Ближайшая же задача вселенского собора и всенаучного музея есть вопрос о переходе или переводе городского и кочевого состояний в земледельческий быт; это вопрос о соединении Византии, центра земледельческих и цивилизованных народов, и Памира, центра кочевников. Византия и Памир — это два пункта, из которых, из первого океаническая сила может нанести удар континентальной, а из второго континентальная может грозить океаническому господству; а потому задачею международного музея будет решение восточного вопроса для Запада и западного для Востока, южного — для христианства и северного — для исламизма; иначе сказать, это решение вопроса о центральном городе, т. е. об освобождении Царьграда. И действительно, для Константинополя и нет другой судьбы, как быть или предметом всемирного раздора или же сделаться посредником всеобщего мира, во имя отечества и братства, т. е. стать международным, но только не юридически-международным музеем. Без посредничества такового невозможно Востоку (России) обратиться даже к мирному, обеспечиваемому всеземною регуляциею земледелю; такое земледеление невозможно, если ислам останется вооруженным по необходимости быта и по религиозному убеждению, Запад же останется при оружии для распространения и защиты своих торговых выгод, в развитии и распространении коих он видит единственное и всеобщее благо мира.

Международный Музей международен не по своему лишь личному составу, но и по предмету занятий. Кроме вышеозначенных задач или занятий, он, как *исторический*, есть исследование общего происхождения или родства, причин разрыва, или забвения родства; как *лингвистический*, он имеет предметом своих занятий объединение в языке; как *естественный*, он создает земледельческо-метеорологический регулятор, орудие закрепления мира. Вопрос о международном мире — вопрос, конечно, не новый; по чувству он всемирен, недаром же, кроме религиозных проповедей и кроме «Лиги мира», существует даже конгресс международного права!.. Должно сказать, что это право менее всех других — небратское, потому что оно, как не имеющее внешней военной силы, не может быть названо юридическим; в смысле только права, оно — иллюзия. Но

оно не было бы ею, если бы институт международного права задался исследованием причин розни, как вопросом всеобщим, и не считал бы достаточным для разрешения его одних юристов. Не достаточно было присоединить к юристам еще и экономистов, ради исследования международного торга, как причины раздора. Для выяснения причин розни институт международного права должен был бы обратиться не во всенародный только, но и во всенаучный музей. Что касается личного состава, то, вероятно, не было бы недостатка в кандидатах в члены музея, если бы одни не считали достаточным для умиротворения только проповедей, а другие — юридических или экономических уз.

Журналистика, если она хочет быть пятой великой державой, должна из международной брани, разжигающей вражду народов (какова нынешняя журналистика), сделаться разъяснением условий всеобщего мира или созданием проекта превращения Константинополя и Памира (то есть Константинополя в связи с Памиром) в международный музей. Вместе с тем, из брани междусословной, разжигающей вражду сословий, — какова журналистика в настоящее время в органах красной, черной и золотой интернационалок, проповедующих, под видом международного мира, войну внутри народов (революцию), журналистика должна обратиться в проект музеев народных. Задача и священный долг журналистики — объединиться в общем отеческом деле; а между тем теперь каждый журнал лучше желает в отдельности быть крупным капиталистом или даже орудием крупного капиталиста, чем вместе — великою державою, даже державою над державами. Полагают, что лучше быть *в отдельности* главою секты или сословия, чем *вместе* душою всего рода человеческого.

Мир междусословный так же невозможен без мира международного, как и примирение народов без примирения сословий. Братство народов тогда только осуществится, когда не будет небратских состояний. Пока услаждающее наш век торжество народа над народом или одного сословия над другим не будет заменено *общим торжеством людей над природою* в деле установления регуляции, до тех пор «на земле мир» и между людьми («в человецех») «благоволение» — невозможны.

Отечество и братство, а с ними и музей, не имеют нужды ни в особом международном органе, ни в народных органах, ибо мысль человеческая, как только повернет от критики, как осуждения, брани (выражения ребяческого возраста), к самоисследованию, к выяснению причин небратства, то, в силу этого самого, единственным предметом своим будет иметь отечество же и братство; и тогда мысль эта проникнет в органы даже всех «интернационалок», как бы глубоко журналистика вообще ни отеклась от отечества и братства, так, что чем более будут усиливаться опровергнуть эту мысль, тем истина дела отеческого и братского будет яснее для самих опровергающих.

Музей есть сила, и сила эта есть сознание долга, исполнение Божественной заповеди, она — сыновнее чувство, обращающее разум к исканию отцов, как единого, вместо изыскания отвлеченных причин в «знании для знания»; эта сила в деле отцовском собирает и совокупляет людей из небратских состояний в братство, обращая рассудок, употреблявшийся на разъединяющую хитрость, в исследование причин разъединения. Разъединенно музей существует и в настоящее время в журналах, ученых обществах, учебных заведениях и в нынешних музеях, даже и в деятелях юридического и экономического быта, но в сердцах он живет только как неопределенное желание, как единство, ясно еще не сознанный; это Царство Божие еще немощное «*внутри нас*», не пришедшее еще в силу, не проявившееся вовне.

Музей есть сила переводящая или, лучше сказать, преобладающая, берущая, извлекающая из употребления то, что производило раздор, служило вражде

(разумею вещи, производящие раздор и служащие орудиями вражды), не ожидая, когда все это станет негодным для употребления (разумею добровольную сдачу вещей, а не выход их из употребления). Другими словами: враждующие сами извлекают из среды себя источники вражды и через то перестают быть враждебными, небратскими, переходят сами и все с собою переводят из юридико-экономического строя в родственно-нравственный, заменяя городскую мануфактуру сельско-кустарною промышленностью. Музей есть сила именно *переводящая*, потому что между переводом и переходом — существенная разница; *переход*, сам собою совершающийся, есть принадлежность детской поры человечества, бессознательной истории, тогда как *перевод* есть выражение совершеннолетия, истории, как действия; это уже исполнение закона Божия. Переход есть исторический закон, по коему, независимо от воли человеческой, т. е. по розни и бездействию совокупной воли человеческого рода, и не по Божественному, конечно, плану, а по собственному несовершенству, все вещи, все учреждения делаются неудовлетворительными, негодными для употребления, а потому или бросаются (по небрежности человеческой) или же истребляются (по человеческой злобе), а если и сохраняются, то (по бездействию мысли) без всякого предварительного плана. Этот переход, фатальный и слепой, сопровождается болью, сожалением одних (старшего поколения) и радостью других (младшего поколения), и называется он прогрессом. Переход относится не к вещам только, но и к лицам; это — и превозношение, и вытеснение младшими старших, это бессознательное рождение и смерть, словом — это современный прославленный «прогресс». Рождение, пока существует, не может не сопровождаться болями, но никогда муки рождения нового и боли старого не были так остры, как в наше время. *Хотя прогресс и следует каким-то законам, но во всяком случае совершается бессознательно и неразумно. Совершенствование же человеческое состоит в том, как это понятно для всякого взрослого, чтобы все совершающееся ныне само собою делалось бы сознательно и самостоятельно.* Исторический бессознательный переход сопровождается ломкою, разрушением, тогда как перевод юридико-экономического быта в архив, в музей, есть не только хранение, но и восстановление по вещам, как произведениям, хотя бы и враждебным, производителей этих вещей, их авторов.

*Перевод* образует музей вещественный, но перевод есть в то же время и *сбор ученых*, ставших учителями, и учителей, ставших исследователями. Этим же словом («перевод») выражается и обращение деятелей юридико-экономического общества в исследователей, а наставников к ученым — в деятелей этого же общества; так что *перевод есть и исследование*, совершаемое младшим поколением под руководством старшего внутри музея, и *исполнение*, совершаемое вне музея сынами (т. е. младшим поколением) под руководством отцов (т. е. того же старшего поколения). Музей внутри есть проект, а извне — исполнение его, проект исхода и изменения мыслящего города в активное село, превращающее смертоносную силу в живоносную. Таким образом *перевод есть полная противоположность прогрессу*, при котором младшее устраняет старшее (когда студент считает себя выше профессора, когда дерзость становится высшею доблестью и начальник начинает бояться подчиненных). *Перевод есть возвращение*, переводящая сила есть сила соединяющая и воскрешающая. *Перевод или Пасха есть общее торжество, торжество из торжеств над природою, вместо торжества сословия над сословием, народа над народом.*

Музей-храм есть сила, *переводящая от юридико-экономического городского раздора к сельскому, нравственно-родственному согласию, сила, обращающая энергию, растрчиваемую в борьбе, на отеческое дело.* Естественный путь к этому переходу заключается в сознании городом искусственности своего суще-

ствования, незаконности происхождения, в сознании, что в основе его лежат мнимые, фальшивые, искусственные (хотя и ставшие второю природою) потребности, а не действительные нужды; в сознании, что из этих мнимых потребностей возникает небратское производство и небратское распределение, образующее весь городской раздор, а этим раздором объясняется необходимость и надзора, и суда, и военной силы; государство же есть совокупность городов. Для искоренения мнимых потребностей достаточно было бы одного сознания их мнимости, если бы только действительным потребностям дано было надлежащее удовлетворение. Под действительными же потребностями разумеется не только удовлетворение необходимых материальных нужд, поддерживающих силы тела и бодрость духа, но и удовлетворение умственных и всех душевных запросов, т. е. потребность в музее, как в обществе «по душе», для осуществления дела отеческого. По мере удовлетворения действительных нужд все большее число потребностей, ныне считающихся действительными, будут признаваться недействительными, и сила сих последних будет все уменьшаться; тогда как, наоборот, чем скуднее удовлетворяются действительные и особенно душевные нужды, тем сильнее действуют потребности мнимые. Отречение от мнимых потребностей дает средства для удовлетворения действительных, силы и труд, употребляемые на производство предметов прихоти и расточаемые в праздных городских забавах, при отречении от этих предметов и забав обращаются на создание музея. Но достаточно ли для этого указанных сил? Дело музея интеллигентного, самого основного, начального, и заключается в разрешении вопроса об организации себя как с вещественной стороны, так и со стороны возможности сделаться всеобщим: в эту задачу включено и статистическое дело музея.

Каждое небратское состояние, каждая специальность имеют свой орган, журнал, газету, в которых они сознают себя, через которые могут и действовать, т. е. переходить в братское сознание, и, подвергая себя исследованию, в согласии со всеми другими, могли бы слагать или сдавать в музей предметы и орудия борьбы. Это согласие, необходимо выходящее из самоисследования каждую специальностью своей односторонности, каждым небратским состоянием и каждую местностью своей отдельности, и было бы проектом всеспециального, всеобщего, всенародного, всеместного музея. Таким образом, сама журналистика, если бы она обнимала собою всю науку и литературу, сделалась бы музеем в смысле собора.

Вещественный же музей будет создаваться, когда интеллигентное общество, входя в действительное дело и удовлетворяя серьезным потребностям, будет, с одной стороны, сознавать игрушечность, женоподобность своего городского быта, а с другой — увидит под этой внешней, мнимой красотой всю возникающую из такого детского и чувственного стремления бесконечную вражду и скудость для большинства. Вещественный музей будет создаваться, таким образом, из бархата и иных тряпок и лохмотьев, производство же предметов роскоши обратится в производство предметов необходимых; на место орудий борьбы будут создаваться орудия исследования и даже регуляции. Тюрьмы и будки, эти необходимые принадлежности роскоши и орудия внешнего, будничного наблюдения, станут только памятниками и заменятся самонаблюдением. Нынешние орудия обмена составят последний период в нумизматическом кабинете, заменившись взаимным знанием нужд. Словом, все материальное выражение небратского города обратится в произведение (в сочинение, так сказать) музея; причем это произведение не будет только изображением города и его быта, а будет отрицанием небратства и проектом братства.

Нынешний пассивный музей пособий, понимаемый даже в идеальном смы-

сле (как подобие всего мироздания), основан на ложной теории, хотя эстетика и считает за несомненную истину мнение, будто художественное произведение есть только изображение времени, только зеркало, в котором отражается мир. На такой-то ложной теории и строится музей. Впрочем, нынешний музей есть только городской; он — верное изображение только городской розни или раздора, принимаемого за нормальное состояние, а потому и не замечаемого, остальной же мир представлен здесь лишь таким, каким видит его город. Стоит развернуть систематический каталог любой библиотеки, чтобы увидеть, что он в своих разделах и подразделах отражает деление общества на небратские сословия, состояния, деление на партии и секты, так, что каталог есть действительно изображение или подобие мира разъединенного, распавшегося. Но на нас эти отделения и отвлечения, это отсутствие единства, этот разрыв уже не производят впечатления боли, они даже не замечаются нами, потому, конечно, что переход от живого, родственного к мертво-гражданскому нам не кажется ненормальным, ни тяжелым; а между тем, если бы такое впечатление музей еще производил, то он не был бы уже простым изображением распавшегося мира, но и заключал бы в себе, хотя и в зародышном состоянии, уже проект объединения мира. К сожалению, нынешний век, живя в мире распада, привыкнув к нему, не требует от совокупности научных или художественных произведений (библиотек, картинных галерей и вообще от целого музея) единства; оно и в этом также не нужно для нашего века, так же не важно, как не нужно для него (имеющего высшие специальные заведения для отдельных наук) высшее учебное заведение для общего образования, для учения об единстве. Наш век хотя и чувствует неудобство распада, но не сознает, где источник этих неудобств, откуда они идут.

Итак, согласно современной эстетической теории, музей есть *только изображение*, а между тем великие художественные произведения, на основании которых эта теория будто бы создана, изображая мир, усиливаются дать ему *свой образ*; отражая мир *в себе*, они *отрицают его*. Нет такого действительно художественного произведения, которое не производило бы некоторого действия, некоего изменения в жизни; в великих же поэмах заключается и план такого изменения или, лучше сказать: *художественное произведение есть проект новой жизни*. В поэмах Гомера был проект единства Греции, и именно потому, что они верно отражали раздоры греков; там был даже проект единства Востока и Запада, в лице ахейцев и троянцев! Истинный почитатель Гомера, Александр, и хотел привести в исполнение этот проект, но встретил сопротивление со стороны неистинных его почитателей, македонян, греков и, особенно, — философов. В поэме Данта заключается проект единства Западной Европы так же, как в творениях Гёте и других немецких писателей — проект наибольшего разделения между христианством и язычеством, между духовным и светским, между Средневековою Европою и Новою, новою, как подражательницею древней, но не гомеровской, не истинно-классической, ибо *истинно-классическая не заключала в себе противоречия христианству*, потому что оплакивала раздор и, следовательно, стремилась к примирению; если же под видом богов и признавались в древности бессмертными слепые силы природы, то признавались *с сожалением*; христианство же, Евангелие, хотя оно и считается новейшими учеными за литературное только произведение, есть в действительности, в сущности, проект примирения (Примеч. 21-ое).

Немецкая философия конца XVIII века была теориею нынешнего музея, который собирал памятники языка, верований, права; из сравнения же их раскрывалось единство происхождения языков, верований и т. д. Но этот музей не был проектом внутреннего объединения даже своего народа; он был, в сущ-



ности, даже закреплением разъединения между искусственным и естественным, между разумом и волею, между теориею и практикою, между прошедшим и настоящим. Музей дал не народу, а интеллигентному классу всей Германии не общих святых, как это бывает при собирании религиозном, а общих поэтов и философов. Отрицая французских поэтов, Германия входит в общение с Англией, усвая себе Шекспира. К сему последнему Германия отнеслась не критически, а с обожанием; Шекспир поставлен был вне истории, он не был для немцев, как другие поэты, произведением времени, века. Немецкая наука и философия отличает искусственное литературное произведение от народного, естественного, как народный язык от языка литературного, как и так называемое естественное право (родовое) от искусственного законодательства. Но такое различие, хотя и действительно существует, однако не настолько безусловно, как полагают немецкие ученые, не обращавшие внимания на другую сторону предмета, т. е. на сходство. Если народные поэмы суть произведения целого народа, то каждый народ состоит также из лиц; он — совокупность их, с тою разницею, что в этой совокупности единства гораздо более, чем в сословии литераторов и ученых. С другой же стороны, каждое из искусственных произведений никак уже не может быть названо произведением одного лица; несомненно, что и немецкие и не-немецкие литераторы и ученые хорошо знают об участии в их произведениях *многих*, и, тем не менее, такие многоавторные произведения подписываются одним именем. Само собою разумеется, что сами авторы, при всем желании, не могут указать на всех своих сотрудников, а ссылаются вообще на дух времени, который говорит в них; но этот же дух времени говорил и в тех составителях поэм, в которых немецкие ученые не хотят теперь признать авторской личности. Почему же за собой признают они авторские права на произведения, в которых также выражается дух времени? (Примеч. 22-ое.) Целая наука, история словесности, имеет своим предметом восстановление анонимных сотрудников, созидающих этот, действующий в нас дух времени, хотя юридически доказать участие этих анонимных сотрудников и нельзя \*. Сам закон, признавая литературную собственность, не может остаться последовательно верным этому принципу и допускает из него изъятия, дозволяя выписки из других сочинений, сам закон дозволяет нарушать признаваемую им литературную собственность. Во всяком случае, нравственно обязательно искать выхода из такого ненормального положения, и этот выход, можно сказать, открывается сам собою: если народ создает одно произведение, если даже между произведениями самых отдаленных народов оказывается единство, то это доказывает, что все человечество составляет один род; и если бы он обладал большими способами сохранения, большею памятью, большими силами, чем те, которыми мы обладаем в настоящее время,— в таком случае он имел бы одну поэму, оплакивающую его распадение во времени и пространстве; а если бы род человеческий имел до своего распада и такие средства сообщения, какими в настоящее время обладаем мы, то, быть может, он и не распался бы, по крайней мере в пространстве, и единство его было бы не таково, как теперешнее.

Народ живет в городском быту, и родоначальник передает детям о своих предках, не требуя, конечно, за это гонорара; потомки продолжают вести предание, поэму, так что авторами ее будут сыны, говорящие об отцах и чувствующие, сознающие себя братьями. Такая литература есть дело священное, родственное по содержанию и по авторам, и обращение такой системы в собственность было бы, конечно, святотатством. Из распадения этой поэмы

---

\* Но не одна история словесных, а история и всяких вещественных произведений имеет целью открытие и восстановление производивших, трудившихся, работавших над ними, и, конечно, в большинстве случаев — анонимно.

образовались все науки, все литературные произведения, потому что распались и сами люди; забыв свое родство, они стали гражданами, образовали все небратские состояния, все специальности \*. Но теперь эти небратские состояния, эти специальности имеют свои заведомые органы, журналы, отсутствие коих для иной благой цели и было причиною распада. Обладая же такими органами, можно — и даже в этом прямая наша обязанность — сохранить единство, как скоро оно будет восстановлено. Впрочем, к восстановлению единства журналы даже более способны, чем к сохранению его.

Народные поэмы суть создания целого народа, как бы одного человека, язык и родовой быт — такие же создания народа; но все это, по мнению немецких ученых, рождено, а не сотворено. Почему, однако, мы не можем действовать, как один человек? Почему человеческие действия могут быть только произволом? Почему рождение не может быть обращено в восстановление? Почему в органическом, физиологическом, т. е. бессознательном, слепом, животном, заключено, будто бы, совершенство, сознательное же, разумное, человеческое осуждено всегда оставаться несовершенным? Этот вопрос, т. е. вопрос о всеобщем воскрешении, немецкая наука не только не ставила, но вовсе даже и не думала о нем, и в то же время, считая его окончательно решенным, ссылку на сознательное достижение совершенства употребляла как указание на полнейшую невозможность. И при этом удивительно то, что, признавая для человеческого рода невозможным действовать как один человек, осуждая, следовательно, человека на вечную безнравственность (так как вопрос о действии человечества, как одного человека, есть вопрос о братстве и отечестве), немецкая наука, несмотря на это, не признавала своего века, в который высказывались такие мысли, за век в высшей степени безнравственный. Несмотря на это, даже ученые других стран не называют такую науку только немецкою, а придают ей всемирное значение, всеобщность, и соглашались с нею, что для опровержения всякого положения требуются доказательства, для отрицания же братства и отечества нет нужды в них. Но и после сознания отсутствия братства в действительности оставался бы еще вопрос об его установлении или восстановлении — вопрос, могущий всей науке дать нравственное содержание, которого в настоящее время она не имеет.

*Всемирно-немецкий музей* носил в себе противоречие, ибо возводя или, вернее, низводя к одному источнику и еврейскую Библию и греческую Библиотеку (монотеизм и политеизм), к источнику не божественному, а человеческому, к разуму, он выводил их единство из противоречий, в них заключающихся, из враждебных направлений и пороков, в них проявляющихся, в содержании даже отдельных книг, как еврейских и христианских, так и языческих, греческих. Немецкий музей видел единство еврейской Библии и греческой Библиотеки в их не-истинности, а следовательно, в их недостоинстве; по причине именно противоречий, в них заключающихся, он и признавал за ними общечеловеческое происхождение — разум, — причем и его делал органом противоречий (антиномий) и не отыскивал причину противоречий в умственном пока бессилии человека, в условиях внешних, временных и не имеющих значения безусловного. Вот почему Берлинский Музей и можно назвать всемирным по объему и немецким, германским по внутреннему содержанию, т. е. узаконением вражды со всеми ее последствиями, а не проектом примирения для уничтожения всех последствий вражды. Потому Музей немецкий и заключал в себе противоречие, потому он и был, как и университет, не священным, а секуляризованным и лишь времен-

\* Светская литература есть только искажение, извращение, распадение народной. Литературному выражению небратства и забвению отцов предшествует действительное небратство, гражданство.

ным, потому что в одну пору с ним создана была и вечная прусская казарма, вечная крепость, а с тем вместе и вечная вражда признана была законною; государство стало вечным надзором, вечным судом, вечным принуждением (Примеч. 23).

Противоречия немецкого музея указывают на то, чем должен быть наш, славянский музей; и было бы глубоко прискорбно, если бы и нам для освобождения от немецкого влияния понадобилось столько же войн, сколько их нужно было Германии, чтобы освободиться от влияния французского и создать свой национальный музей в противоположность французскому, который был музеем только изящных, а не всех произведений, музеем аристократическим; причем критерием для выбора, для отличия изящного от неизящного служила весьма поверхностная эстетика, которая ни в средневековом, ни в восточном, да и вообще ни в чем, кроме классического, не признавала ничего достойного внимания, а под классическим разумела не греческое и не латинское, а французское. У французов городское направление дошло до высшей степени, у немцев же *в мысли* видим уже естественное, рождающееся, органическое, т. е. сельское; это, так сказать, уже выход мысли из города, которым она стала недовольна; но *на деле* и у немцев остается в силе и действии все городское, искусственное, военное как вечная безусловно-необходимая, т. е. непогрешимая антиномия существующего с долженствовавшим бы быть.

Вышеприведенное определение музея как единой универсальной книги есть определение именно в немецком смысле; библиотека в этом смысле, как основа музея, была бы одною книгою, потому что она есть произведение одного разума человеческого (это — формальное единство), по содержанию же она есть совокупность всех враждебных направлений, подобная тому, как из тезиса вытекает антитезис, хотя и примиряющийся в синтезе, но лишь для того, чтобы вновь распасться. Та же вражда иллюстрируется и всеми искусствами, проявляется и в промышленности, руководимой химическими и физическими опытами. Впрочем, название библиотеки одною книгою можно признать лишь априорным выводом, так как фактически общего происхождения книг наука указать еще не может. В основе европейской библиотеки лежат две книги — Библия еврейская, как выражение ближнего Востока, и Библия греческая (западная), в основе которой можно поставить Гомера, т. е. весь эпический цикл о Троянской войне, который и приписывался Гомеру, так что Гомера можно понимать в широком и узком смысле, и в обоих случаях — одинаково справедливо. К греческой библиотеке можно было бы причислить и Гезиода, если бы только в нем не оказывалось больше восточного, чем западного. Историческая связь этих двух библий с индусскою и особенно с китайскою еще не открыта; но умственное и нравственное единство в них возможно, а потому и примирение между ними нельзя считать безусловно невозможным. Музей в немецком смысле, по образцу которого устроены и наши нынешние музеи, не представляет противоположности музею в истинном смысле этого слова. Музей же в истинном смысле есть проект примирения враждебных направлений, которые отражаются и на нем самом; другими словами — музей есть художественное произведение, в котором заключается проект перехода от города к селу и их примирения.

*Русский Музей.* Мысль об единстве, о собирании была господствующею мыслью России вообще и Москвы в особенности; выражением этой мысли, первым ее памятником были регалии Мономаха<sup>14</sup>, которые можно считать началом русского самородного музея. Сказание о происхождении этих регалий — не сказка, не легенда, а деловое, церковно-приказное объяснение той задачи, которую приняла на себя Москва. Бедное по воображению, объяснение это не

столь богато и нравственным смыслом, как могло бы быть по самому содержанию. Его можно считать ответом на ту повесть, которую сам ее писатель назвал «трудною», т. е. грустно и скорбною, повесть о раздорах и усобицах, от которых стонала русская земля. Первые же издатели этой повести дали ей название «героической песни», и вышла, таким образом, ода на поражение Игоря; а между тем это — плач о разъединении \*, плач о том, что нельзя было «пригвоздить к горам киевским того старого Владимира»<sup>15</sup>, который был великим поборником единства, который всю жизнь свою положил на то, чтобы, соединив князей как членов одного рода, твердо стать против хищников степи. Жертвы усобицы, первые подражатели Христу на Руси, были предметом поклонения Мономаха. Признав святыми Бориса и Глеба, Русь осудила усобицы, выше всего поставила братство, отождествив с ним христианство, так что от христианства у нас осталось одно смутное чувство, что по-христиански, по-Божьи даже мшение, даже осуждение есть преступление. Хотя такое чувство было смутно и неопределенно, но народ ясно понимал, что на деле он никогда христианином не был, и *хотя небратское состояние продолжалось и даже усиливалось, но алчущим и жаждущим братства (именно братства, а не правды) народ остался и до сих пор.*

Если бы слово «Мономах» значило «поборник единства», то такое название могло бы быть дано Владимиру и Византию, едва не погибшему в это самое время от тех же кочевников, от которых она могла бы быть спасена, если бы мечта об единстве осуществилась. Тогда не было бы и нужды императору просить помощи у Запада, более или менее объединенного папством. Говорить о том, что могло бы быть, но что осталось неисполненным, мы обязаны, хотя это и делает нашу историю сокрушением о неисполненном; умалчивать об этом значило бы уменьшать нашу вину, тем более, что такое сокрушение может быть не бесплодным.

В ответ на песнь об Игоре, выразившую стон народа, Московская Русь исполнила то, чего желала, но не могла исполнить Киевская: Московская Русь задумала «пригвоздить» старого миротворца, печальника и страдальца о русской земле к горам кремлевским, дав ему византийскую санкцию. Значение, которое Мономах имел по своим личным качествам, Москва усвоила своим князьям чрез помазание, чрез венчание; она возводила «в того старого Владимира» своих великих князей, облакая их бармами и шапкой Мономаха. Облеченные утварями Мономаха, московские князья привлекали к себе, собирали землю, и Москва стала стольным городом великих князей-собирателей, собора удельных князей, боярской думы, духовного и земского собора. Внешним выражением этого собирания служили и соборы, и царские палаты со всеми знаками власти: «не от человек, но Божиим судьбам неизреченным, претворяше и преводяще славу Греческого Царства на Российского Царя». И весь Кремль стал музеем, утвари же, приписываемые Мономаху, составили ядро его; «мастерская», или «Оружейная палата», имевшая в допетровской Руси значение Академии художеств, была хранилищем этих утварей, музеем в Музее. По мере того, как падала Византия, а Москва возвышалась, собирая землю, утварям великокняжеским приписывалось постепенно значение царских, императорских, переданных из Константинополя. Когда же политические собиратели перенесли свою резиденцию из Москвы, и Москва стала простым хранилищем, городом архивов и музеев в нынешнем смысле, тогда взамен утраченного политиче-

\* Так возникали потом плачи и от небратского, неотеческого собирания, потому что единство, отечество — не иго, от которого плачут, а свобода, истинная самостоятельность личности, которая и возможна лишь при единстве; единство — свобода, а не рознь, не усобицы, вызывающие стон.

ского значения Москве дан был университет <sup>16</sup> (Примеч. 24-ое), т. е. к ее самородным музеям и архивам приданы исследователи русской жизни и природы, и Москва систематически, на основании всех письменных и вещественных памятников, хранимых ею, могла бы заняться вопросом о своей судьбе, о причинах, по которым она утратила свое прежнее значение собирательницы.

К сожалению, Москва не сделала этого вопроса главным предметом своей деятельности, а предпочла стать торгово-промышленным центром, соблазном для всей страны. Вместо политического, она стала экономическим средоточием, и этим, конечно, не только не восстановила своего нравственного значения, а даже совершенно, можно сказать, утратила его. То же исследование, которым Москва все-таки занялась, поставило себе целью доказать и доказывало, что она как получила, так и потеряла значение собирательницы не по произволу лиц, а по законам необходимости, по законам природы. Признавая такую необходимость, наша наука была верна науке немецкой и природе слепой, но она не была верна ни нашей русской, ни вообще человеческой природе. Необходимость означает только то, что событие совершилось по вине не одного и не некоторых только лиц, а по общей вине, по вине всех; но это — не оправдание, а только усиление вины настолько, насколько все — больше, чем один, чем несколько. Народ есть совокупность лиц, поэтому и народ может действовать нравственно, сознательно, а не как стихийная сила; он может действовать как братство, как один человек. Задача исследования в том и заключается, чтобы народ из стихийной силы стал совокупностью нравственно-разумных личностей, братством. Исследование не имело бы смысла, если бы оно ограничивалось только признанием роковой необходимости всегда остаться слепой силой. Тем не менее, архивное и музейское значение Москвы продолжало расти, конечно, в смысле ученого, а не нравственного значения. Москва стала архивом и для Петербурга; и даже то, что вновь воздвигалось, если не во всей Москве, то в Кремле, тотчас же принимало характер музейский, архивный, ибо какое другое значение могли иметь залы, например, нового кремлевского дворца, Георгиевская, Андреевская, Владимирская и проч., как не музейское, как не значение памятников для всех отличившихся на военном, гражданском и даже промышленном поприщах? К сожалению, увеличение числа архивов, музеев увеличивает только их рознь, и бывшая собирательница русской земли в настоящее время не имеет силы установить единства даже в своих архивах и музеях, не может создать из них музея единого, *соборного*, и еще менее имеет возможности обратить хранилища в места исследования, т. е. объединить в музее все ученые общества, обратить Кремль в музей, иначе сказать — сделать работу ученых обществ постоянною, систематическою, вместо нынешней свободы занятий, которая приводит к тому, что ученые общества редко или почти никогда не собираются и ничего общего не делают. Столь же бессильна Москва сделать способными к исполнению своей задачи и подготовительные к исследованию учреждения; ибо если учебные заведения не образуют исследователей, то они не доводят учащихся до зрелости, следовательно, оставляют их недорослями, неспособными продолжать род, т. е. размножать исследователей, учителей; быть же исследователем и не быть в то же время учителем — значит оставаться бесплодным, а быть учителем и не быть исследователем — значит быть недостойным учительства.

Москва оказалась бессильной собрать все свои музеи и архивы воедино, обратить их в место исследования, а в то же время и в место приготовления новых исследователей из поколения младшего под руководством учителей поколения старшего. Москва не смогла объединить вокруг единого соборного музея и все учебные заведения, хотя только так и могли бы они исполнять свое на-

значение: готовить исследователей-учителей, а вместе — и деятелей на всех поприщах жизни. Все это бессилие и привело к тому, что ни служилое сословие, ни деятели на промышленном поприще не могут принимать или же по крайней мере не принимают участия в исследовании. Поэтому и народ остается силою стихийною, а не сознательною; да и самый музей есть только собрание памятников для отвлеченного исследования, производимого отдельными любителями, которые бессознательно выделяются из народного организма, движимого пока силою слепую. Ничем иным, как собиранием только памятников, музей и не может быть до тех пор, пока он не освободится от немецкого влияния и не поставит своей целью исследование причин небратского состояния. Препятствием к осуществлению этой цели служит то обстоятельство, что Москва, оставаясь столицей и центром земледельческой страны, не может считаться «большою деревней», хотя и носит такое название, в смысле бранном, конечно. Промышленность же и торговля в особенности отторгают от музея естествознание, обращая его на службу себе, разлагая его на различные науки, заставляя эти последние выпытывать, выкрадывать, так сказать, у природы тайны не для того, чтобы внести в ход ее явлений правильность и регуляцию, а чтобы только пользоваться приложением этих тайн для удовлетворения не нужд, а искусственных потребностей, не останавливаясь перед порабощением на служение им целых народов (засаживая их за прятку) и самого солнца, которое в фотографии заставляют вырисовывать узоры для модных тканей. Но, порабощая слепую силу природы для таких пустяков, обращая ее на работу такого ничтожества, вместе с тем оставляют ее свободно производить такие опустошения, как на Искии, где в  $\frac{1}{4}$  секунды было погребено более трех тысяч человек, оставляют ее свободно разгуливать в торнадосах и тайфунах, сила которых производит все более губительные действия по мере увеличения народонаселения. Естествознание, отвлеченное от истинно-естественного назначения руководить сельским трудом, работою над самою природою (регулированием, например, вихрями, предупреждая их появление, ибо сила, проявляющаяся в них, надо полагать, скопляется весьма медленно), — естествознание приспосабливается к тому, чтобы поддерживаемая им городская промышленность могла истощать села, отвлекая население их от естественного дела к искусственному, от земли к фабрике, увеличивая города, в которых братство невозможно... Москва не может решить вопроса о причинах утраты ею своего истинного дела, дела собирания, иначе, как признав, что оно не имело нравственного, братского значения; и действительно, все исследования показали, что московское собрание носило не только не братский, но и совершенно противоположный ему характер. Конечно, собрание такого свойства имело свои причины, но исследование не должно иметь целью бесплодное оправдание: оно обязано идти до коренных причин небратского собирания, не отделяя познания от действия.

Признавая музей в России самородным, созданным всею историею, мы не хотим этим сказать, чтобы в других странах не было ничего подобного, чтобы и в них не было музеев собирания, ибо всякая страна, страдавшая от разъединения, отдавалась делу собирания, хранила и памятники его; но ни одна страна не страдала столько от разъединения, как Россия, и едва ли где собирание сопровождалось такими трудностями, как у нас. Зато оно и было в России делом царским, государственным, делом светских и духовных властей, действовавших в согласии, и стояло оно в теснейшей связи с собиранием или подчинением целых областей, и было непрерывным, постоянным, главным делом, всею историею России. Это-то собрание по связи своей с Константинополем получило в прошлом, а может и в будущем получить всемирное значение; но во всяком

случае, оно производилось лишь внешним и, следовательно, небратским путем.

Между самородными музеями, как естественными результатами собирания, и искусственными, как результатами знания, существует различие. Самородный музей составил из местных икон присоединенных городов, и иконы эти предназначались не для хранения только, но и для поклонения, для почитания, и уже не местного только, а всероссийского; сам Успенский собор был храмом собирания. К этому же музею, возникшему из собирания, можно отнести и приделы или храмы, которые воздвигались в Москве в честь местных святых. Вместе с таким собиранием составлялись местным святым жития и службы, если таковых еще не было. Переносили в Москву также акты, хартии, рукописи и вообще местные архивы, так что собирание имело выражение письменное, иконописное и архитектурное. С другой стороны, и каждая местность к местным святым присоединяла святых всей Руси и принимала участие в делах всей земли.

Но духовное объединение парализовалось приказными узами, коими связывались с центром отдельные местности, и эта связь отразилась на местных музеях, за основу коих можно признать плачи о присоединении (как в Новгороде, Пскове; были плачи, конечно, и в других присоединенных городах). И такие музеи каждого города стали бы очень обширными, если бы возможно было записать все неправды, учиненные московскими воеводами. Впрочем, каждый город даже во всей своей внешности, в частных и общественных постройках, выражает неотеческое отношение Москвы и Петербурга, а еще больше собственное свое небратство.

Так создавался *самородный музей*; и, чтобы понять ту разницу между ним и искусственными, современными нам музеями и оценить по достоинству гордость ученых тем высоким положением, которое они ныне будто бы занимают, достаточно сравнить, например, возникновение Библиотеки Синодальной, явившейся следствием потребности в исправлении книг: она свидетельствовала о пробуждении разума и была великим делом царским и патриаршим; она, можно сказать, составила эпоху в истории. Стоит только сравнить возникновение этой библиотеки с основанием Императорской Публичной Библиотеки в Петербурге!<sup>17</sup> Возникновению сей последней может быть отведено несколько строчек, да и то разве лишь в самых подробных историях русского просвещения. Впрочем, и Московскому Музею, быть может, не будет уделено и одной строчки в истории, если музеи не поймут, наконец, своего назначения.

Вникая в историю учреждения, в жизнь основателей, в значение самого места и времени основания музеев, можно и должно искать путей для действия и достижения цели музеев искусственных вообще и русских в особенности. Создание искусственных музеев тогда только соответствовало бы созиданию самородных, когда бы они возникали из умственного объединения всей местной интеллигенции (административной, судебной, промышленной), как исследователей и учителей, с центральными учеными и местными учебными учреждениями во главе, и если бы при этом действительные, а не почетные только члены центральных учреждений были государственными и экономическими деятелями; и, кроме того, если бы исследование, как центральное, так и местное, было бы исследованием вопроса: почему при внешнем соединении центра с отдельными местностями нет между ними единения внутреннего? и если бы это исследование, выражаемое художественно и наглядно и, таким образом, способное к воздействию на взрослых и невзрослых, на жизнь и школу, производило бы нравственное объединение и закрепляло это единство всеми художественными

средствами. Но мы видим, что искусственные музеи возникают, к сожалению, иным путем, далеко не соответствующим возникновению самородных музеев, они не плод согласного действия властей светской и духовной; искусственные музеи собираются частными лицами да учеными обществами, лишь при содействии духовных и светских властей, причем и такому сотрудничеству придается значение не первостепенной важности, а оно считается даже чуть ли не излишнею роскошью. Такой взгляд, покровительствуемый властью, разделяется и покровительствуемыми учеными обществами, которые бывают очень довольны, если правительство по какому-либо особому ходатайству назначает им денежное пособие. И надо сознаться, что этот взгляд имеет свои основательные причины; виновны же в таком положении дела, на котором основан не лишенный презрения взгляд правительства на ученых, без всякого сомнения, сами же ученые; оттого к ним и относятся с презрением не только власти, но и денежная аристократия, причем и сами ученые во многих случаях не считают своего дела важным. Да и действительно, дело их не будет иметь важности, если останется только тем, чем оно есть! Когда метеорологии был отведен на пароходах их владельцами (которым наука же подарила эти пароходы) какой-то уголок, не сами ли ученые прославляли просвещенное внимание купечества? а между тем те же ученые не перестают толковать о достоинстве науки, полагая его в независимости и цеховой самостоятельности!..

Ученые, оставаясь сословием только мыслящим, только познающим, служащим науке лишь для науки, и не могут иметь высокого достоинства, ибо они отвлекают разум от дела, от служения благу, и оставляют, следовательно, мир во зле лежать, т. е. пребывать в неродственности; для них, как искателей только истины, а не блага, безразлично, зло или благо заключается в открываемой ими истине, тогда как для человека, не считающего себя чужим всем людям, знание истины (фактичности) зла (неродственности) имеет необходимым следствием проект блага, т. е. восстановления отечества и братства. Только давши себе неопределенное имя «человек», можно было довольствоваться бесцельным исследованием; признав же себя «сыном человеческим», нужно и исследование обратиться в знание, в науку, изучающую причины неродственности. Недостойно разума только служить промышленности, недостойно и ученых быть только юристами да экономистами, т. е. оправдывать и поддерживать порядок, противоположный благу, противный братству! Обязанность ученых в том, чтобы вступать во все процессы практической деятельности в качестве исследователей и ради исследования этой деятельности, для выяснения того, что в ней есть неродственного. Дабы проникнуть в самую глубь явлений небратского состояния, нужно, вступая в эти процессы деятельности, смотреть на них как на явления небратского состояния, и при этом не только не покидать науки, не только не уменьшать научного труда, но, как раз наоборот, всемерно надо расширять область исследования; и если ученые, ставши в этом смысле и практическими деятелями, сделают в то же время даже практическую деятельность предметом исследования, они этим обратят науку на служение общему благу, а не себе только самой.

Гораздо менее виновны сословия неученые, ибо эти действуют, а не думают, и по какому-то смутному инстинкту презирают ученых отшельников (думающих, а не действующих), хотя презирают и тех ученых, которые оставляют науку для каких-либо торговых, судебных и т. п. дел. Не могут быть, однако, совершенно оправданы и неученые сословия, не специалисты науки, особенно высокопоставленные из них, если не дают себе труда подумать о своем небратском положении, об оставлении сыновнего дела, которое у неученых — общее с учеными. *Если ученым предстоит занять небратские практические*



*должности и остаться при этом исследователями, то и неученым следует, оставаясь в своих должностях, сделаться исследователями.*

Соединение специалистов, т. е. экспертов, по всем небратским состояниям, составляющим предметы особых наук, всех, без всяких исключений, соединение их в библиотеке, заключающей все сведения, все документы и вещественные свидетельства, относящиеся к делу о небратском состоянии, — такое соединение и образует музей, имеющий целью составление проекта объединения в общем союзе братства. Музей, говоря нынешним языком, есть комиссия, а по прежней терминологии — собор для расследования дела о восстании сынов против отцов, дела всеобщего и коренного, дела «омладин» всех стран, которое служит признаком кончины мира, падения, распада, словом — гибели. В словах «*восстание сынов против отцов*» заключается уже понятие о кончине мира; слова «кончина мира» и «восстание сынов против отцов» — выражения однозначные, это — тождество.

Музей есть комиссия по делу о небратском состоянии, которое в течение 18-ти веков не только не подвинулось ни на шаг, но дошло до того, что уже не брат только восстает против брата, но и сыны идут против отцов, так что в музее, этом кладбище, содрогнулись собранные там кости отцов. Музей — это не частная какая-либо попытка, а соединение всех сил и средств для разрешения всеобщего вопроса о небратстве. Таким образом музей всеобщ как по личному составу, так и по вещественному. И если проект, составляемый такою комиссией, не может быть искусственно составленным, не может быть соглашением лишь личных мнений, хотя бы и очень многих, а будет выводом из всех, относящихся к сему фактов и мнений, выводом, производимым младшим поколением под руководством старшего, то и приведение в исполнение этого проекта-вывода не будет иметь ничего общего с теми способами, коими приводятся в исполнение законы гражданские, законы характера юридического. Составители проекта братского не только исследователи прошедшего, но и исследователи и наблюдатели текущего, т. е. они не ученые только, но и деятели, они не только теоретики, но и практики, и только этим путем устранится разрыв между теорией и практикой. С другой стороны, делая участниками этого вывода-проекта младшее поколение, дадут этому делу историческую последовательность; и тогда младшее поколение не будет уже составлять оппозиции старшему, а будет действовать с ним согласно, без борьбы, будет продолжать его дело.

При изучении фактов юридических, экономических и вообще явлений человеческой жизни каждою специальностью в отдельности, наука, по необходимости, ограничивается изучением только явлений, а не причин их; ибо если юридические явления зависят от экономических, то каким образом юрист, оставаясь в пределах своей специальности и не считая нужным совместное исследование с экономистами, как может он узнать причины тех явлений, изучением которых занимается? каким образом поймет он, например, падение родового быта и замену его гражданским, юридическим, если не будет изучать его в связи с переходом естественного хозяйства в денежное, т. е. сельского в городское? То же нужно сказать и об экономистах, которые хотели бы обособиться и замкнуться в своей специальности, не обращая внимания на техническую сторону дела, тогда как нет никакого сомнения в том, что экономические явления зависят от явлений характера технического: так, например, крупная фабричная промышленность возникла и поглотила мелких производителей только потому, что были изобретены машины; крайнее развитие городской жизни, обращение города в соблазн, также может быть объяснено только техническими изобретениями; и потому экономист, оставляющий без изучения явления

этого рода, обречен на незнание причин возникновения явлений, составляющих его специальность. Технические же явления объясняются естественными, потому что они суть неестественные, искусственные приложения естественных сил и т. д. Таким образом можно сказать, что *разделение наук означает отделение следствий от причин, и, обрекая науку на изучение законов только явлений, обрекает самого человека на незнание причин тех бедствий, которые его угнетают; а между тем только незнание причин этих бедствий и дает им вид неизбежности, фатальности. Наука о причинах небратского состояния может достигнуть цели всестороннего объяснения только при соединении специалистов всех ветвей знания, но вместе с тем она отличается от знания вообще, во-1-х, тем, что дает знанию цель высшую, нравственную, и, во-2-х, тем, что при соединении знаний, при объединении отдельных наук, изучение достигает наибольшей глубины, и не той только, которая лишь теперь обнаруживается, а той именно, которая вообще дана в причинах этих явлений, ибо фундамент небратского состояния не теряется неуловимо в бесконечности.*

Итак, музей или, как сказано, комиссия по делу о восстании сынов против отцов, по делу о небратском состоянии мира состоит и из ученых, ставших деятелями и учителями, и из деятелей, обратившихся в исследователей и учителей, а также и из учителей, которые тоже должны сделаться и деятелями, и исследователями. Словом, *в музее объединяются все эти три функции: исследования, учительства и деятельности*, и таким образом уничтожаются те недостатки, которые происходят от их разделения, совершенно неестественного. И в самом деле, может ли быть что-либо противоестественнее, как отделять науку, т. е. мысль, от действия, или же учительство отделять от науки и деятельности, т. е. делать из учителей таких, которые учат, не зная чему, так как сами они в исследовании не участвуют, учат и неизвестно для чего, потому что в действительности, к которой готовят, также никакого участия не принимают? Разделение этих трех функций потому именно, что оно противоестественно, могло произойти или случайно, несознательно, стихийно, так, как создавались народные веча и пр., или же произвольно, как палаты депутатов, разные нынешние комиссии и пр.; и потому музей если и может быть назван комиссиею, собором, как он определялся выше, то лишь такою комиссиею, таким собором, при создании коих устранены как случай, так и произвол, причем устранение того и другого требуется не относительно личного только состава, но и предмета, цели, хода. Музей создается естественною силою, но не слепую, а пришедшую в сознание. Если позволить себе сократить предметы занятий музея, ограничить его личный состав, вообще позволить себе произвол при создании его, музей обратится в законодательное собрание или во что-либо ему подобное. Точно так же, если мы устраним из законодательных собраний, земских соборов, парламентов все произвольное, случайное, то такие собрания или соборы обратятся в музей. Даже адвокаты, юристы и представители коммерческо-промышленных сословий, из которых преимущественно составляются законодательные собрания, могли бы образовать музей, но только на условии признания временности всех своих профессий и при стремлении сделать их кратковременными. А между тем законодательные собрания узаконяют существование этих профессий и партий, а тем и самые прения, так что по ожесточенности последних можно судить и о силе вражды, раздирающей будто бы представляемый подобными собраниями народ. Таким образом, законодательные собрания идут в совершенно противоположном направлении тому, которое могло бы привести их к музею. Прийти к нему они могут лишь тогда, когда поставят своею задачею исследование причин, по которым они сами распадаются на партии; в таком случае партии могли бы примириться, составить действитель-

ное единство, а не случайное сборище лиц, разнящихся между собою почти во всем. Но не могут ли члены законодательных собраний, после ожесточенных споров в палате, собравшись в музее, обсудить те же вопросы философски — сказали бы мы, — если бы философы не принадлежали к тем же партиям, или же обсудить научно, если бы наука не возводила случай и слепое развитие в закон? А потому должно сказать: члены законодательных собраний могут после споров в палате обсуждать те же вопросы в музее *не философски, не научно, а с точки зрения всеобщеевропейской, при которой не может быть партий*. В том, как осуществить, как прийти к такому единству, и заключается вопрос, подлежащий разрешению.

История всех законодательных собраний, начиная с древних до новейших (американских), несмотря на желание историков смягчить безобразие всех этих собраний, свидетельствует (да и не может не свидетельствовать, потому что безобразия эти заключаются не в крайностях, а в самом *нормальном ходе* их), что все эти палаты должны были бы прийти в запустение, если бы только открылся другой исход для устройства дел человеческих, которого жаждут, к которому стремятся души человеческие, отыскивая его даже во внемирном существовании, подобно Платону и нынешним спиритуалистам. Платон и спиритуалисты искали вне мира то, что должен дать сам мир; *музей же и есть путь к осуществлению внемирного идеала в самом мире*. Членами музея сделаются вообще все способные к самообвинению, к сомнению в своем достоинстве, те, что могут дать оценку своей деятельности с точки зрения братства, составляющего сущность музея. Призыв на этот собор, который слышится уже в самом Евангелии, выходит из внутреннего сознания, из глубины совести, из недовольства, чувствуемого хотя бы смутно, в слабой степени, всяким человеческим существом, исполняющим или вынужденным исполнять небратское дело юридического либо экономического свойства. Этот внутренний зов и голос, притом всеобщий, как и сама совесть, нуждается только в пробуждении, разъяснении и содействии.

*Ученое сословие и журналистика*. Это вопрос, во-первых, об объединении журналов и, во-вторых, об освобождении журналистики от ига капитала, подчиняющего умственное дело законам фабричного производства, т. е. конкуренции производителей и фальсификации произведений, и тем развращающего журналистику, дело умственное. Это вопрос о переходе журналистики от несовершеннолетнего возраста, от розни, к совершеннолетию, к единству, от светского к религиозному, христианскому.

Если бы каждое сословие, в каждой отдельной местности имело орган, тогда объединение журналов было бы объединением рода; но журналистика есть только орган городов и городских сословий, живущих в розни. Отсюда в ней и разъединение внешнее и внутреннее. Низший же слой человеческого рода, сельский, не читающий и не пишущий, разно говорящий, но почти одинаково мыслящий, однако общего отеческого дела не имеющий, хотя и чтущий отцов своих, как одного, — сельский слой человеческого рода вовсе не имеет органов выражения своей мысли, своей думы об отцах, как об отце едином. Только объединяясь сама, объединяя и раздорнические сословия города, журналистика может стать органом и руководителем сельского класса, т. е. всего человеческого рода. Нынешняя же журналистика, проникая в село, может быть своими рекламами только органом городского соблазна и вестником неродственных и противобратственных отношений; она может лишь разрушать родство, восстановлять сынов против отцов.

*Журналистика* — это новый род миссионерства, новая стадия или фаза объединения, если только она сама объединится. В объединении состоит задача

*прессы, печати, ее религия. При распространении грамотности открывается возможность даже для самых дальних окраин слышать, что говорится в центре веры и знания; грамотность так понятая, так поставленная есть новый способ объединения, чрез исполнение заповеди «шедые, научите»; в этом смысле она имеет нравственно-религиозное значение.*

Наше время в некотором отношении гораздо благоприятнее для братского дела, для объединения, чем то было восемнадцать веков тому назад, когда поднялся вопрос о братстве. Христианство в наше время может иметь дело не с отдельными только личностями, а с сословиями, или небратскими состояниями, с целыми классами лиц, имеющими свои органы в виде журналов и газет. *Обратить один журнал в христианство, т. е. к раскаянию в розни, к готовности на соединение в общем отеческом деле, это еще не значит, конечно, обратить все сословие, которому этот журнал служит органом, из небратского в братское состояние; но это значит уже приобрести миссионера. Журналистика имеет значение миссионера и для музея, ибо через журналы может создаваться музей, через журналы ученое сословие может обратиться в комиссию или собор по вопросу о неродственности. Журналистика — это голос, говорящий на всех языках мира, проповедующий всем племенам и народам во всех концах земли.* Журналистику называют выражением общественного мнения; правильнее же назвать ее выражением мнений различных небратских состояний, из которых состоит общество, или же партий, также небратских, на которые общество делится. Журналистику называют также руководителем общественного мнения; это значит, что журналистика — не только орган разума, составляющего мнения, но и орган воли, действия (не всего общества, а отдельных партий и сословий); разум же, по сущности своей, требует единства и не может остановиться на мнении или на мнениях, то же должно сказать и о воле: и в ней есть требование единства, отсюда и следует, что *задача и журналистики достигнуть единства и, вместо мнения, поставить истину, вместо сословной выгоды и интереса партий поставить общее благо.* Выражать мнение небратского состояния, руководить делом небратским может быть извинительно для головы (т. е. для журнала), которая получает питание от тела, стоит в материальной зависимости от небратского сословия, выражением которого журнал служит и которое само не может выйти из своего небратского состояния потому, что и понять-то его оно может только в своей голове, т. е. журнале, в котором сосредоточивается (по крайней мере журнал служит для такого сосредоточения) *интеллигенция сословия.* Если же голова получит некоторую независимость от тела, как это и должно быть, т. е. если голова будет управлять, руководить им, не потворствуя его раздорническому вкусу, тогда возможен будет переход от мнений к истине, от интереса сословного ко всеобщему благу; тогда различие мнений, налагаемое различиями сословий, исчезнет, будут исчезать и самые препятствия к примирению, к объединению журнала (Примеч. 25-ое).

Но в действительности, вместо исследования причин небратского состояния, журналистика еще усиливает вражду, занимаясь обличениями, «преданием гласности», и вся деятельность ее ограничивается произведением существ эфемерных, которые, появившись утром и ужалив, умирают вечером, а на другой день сами уже хоронятся в музее. Но если деятельность журналистики и эфемерна, то вражда, которую она производит, оставляет следы глубокие \*. Журналистика тем вреднее, чем более она втягивает в себя и почти уже поглощает литературу и подчиняет своему влиянию даже науку и искусство. Журналисти-

\* Правда, журналистика производит не одну вражду, но и любовь, но какую? — конечно, половую — своими романами, повестями и т. п., и возбуждение такой любви также не проходит бесследно.

ку поддерживают и живопись своими картинами, и театры своими представлениями, и даже музыка возбуждаемыми ею чувствами, так что журналистика действует всеми художественными средствами. *Журналистика — это сила, и сила громадная, но растрчиваемая на дело эфемерное,* — на передовые статьи, в которых выражается дух партий, на сообщения пикантных вестей, сенсационных слухов, возбуждающих тревогу, а иногда террор, и часто — в видах спекуляции, сплетен с прибавкою реклам, и больше всего — болтовни («фельетон»). Представляя совершенную противоположность музею, она является полнейшим выражением нашего века; и те самые, которые с презрением относятся к маленьким городкам, где против сплетен нет цензуры, в то же время восхищаются большими городами, в которых и большие сплетни пользуются полною свободою. Ожесточенная борьба партий, не останавливающаяся ни перед какими средствами, приводит в восторг тех самых, которые с презрением относятся к такой же борьбе в небольших городках. Почему же, однако, одно и то же явление в маленьких размерах безобразно, а в больших представляется величавым?

*Журналистика потому и есть небратское дело, что она — неотеческая, что она знает только настоящее, занимается вопросами дня и забывает прошедшее.* Когда и литература обращается в журналистику, то и она производит только эфемерные, недолговечные творения. *Журналистика — выражение «людей дня» — что же другое и может произвести, как не эфемерное, однодневное?* Литература, ставшая фельетоном, не долговечнее листьев засыхающих, опадающих, разносимых ветром. Музей оказывает такую же услугу и литературе поденщиков, как и газетам, которых публика в памяти не хранит, а употребляет на обертки, если не на нечто еще менее почтенное. *И наука становится журналисткою, служит эфемерному, когда занимается приложением к промышленности и к военному делу.*

Журнальная литература, литература личных и эфемерных сочинений, есть произведение того же разума, той же души, которые произвели и сельское хозяйство, и связанную с ним естественную сельскую религию, и народные поэмы, создававшиеся хотя и в течение многих веков и многими поколениями, но тем не менее сохранившие единство, составившие одну поэму. А в городе тот же разум, забыв свое происхождение, стал отрицанием сельской религии, отрицанием не того, что в ней есть недействительного, мнимого, а всеобщности цели, обязанности каждого поколения жить для всех. Земледельческая, родовая, общинная жизнь была основою такого единства, тогда как в городе, где существование зависит от отдельных, личных ежедневных усилий, даже и литература не могла удержать единства. Только привычка мешает нам видеть всю неестественность этого литературного распада, при котором не только произведения отдельных лиц стараются выделиться одно от другого, как будто они делают не одно и то же дело (впрочем, не хотят признать даже существование такого дела!), но и каждый отдельный человек производит в течение жизни множество произведений, между которыми нет, по-видимому, ничего общего, в которых и сам автор не откроет единства, да и не сочтет его нужным. Верх такого распада представляет фельетонист, каждый день беседующий о предметах, взаимной связи не имеющих, и об установлении каковой фельетонист и не думает, даже не представляет ее себе, ибо он пишет для того лишь, чтобы и самому тотчас же забыть им написанное. Воистину, это литература эфемерных мелочей!..

Если в поэмах народных утрачивалась личность и сохранялось единство, то в городских произведениях утрачивается единство и сохраняется личность; впрочем, сохраняется лишь настолько, насколько в народных поэмах сохрани-

лось единство, так как надлежащего единства не было и там. Сознание, что весь раздор партий и сословий и разъединение литературных умственных сил заключается в условиях городской жизни, это сознание и будет вести к возвращению к сельской жизни, если только сознание и совесть еще имеют значение в жизни и если условия материального существования не будут тому препятствием.

Но станет ли журналистика заниматься вопросом об условиях разъединения и о поводах к соединению? Связанный со всеми сторонами жизни, с религиозною и светскою, с гражданскою и военною, и особенно со всеобщою воинскою повинностью, вопрос об объединении не может не напрашиваться на внимание. Даже одно уже сознание причин и условий разъединения введет единство в мыслящее и пишущее, научное и литературное сословие, даст ему общую задачу и тему для общего произведения; а этот предмет столь обширен, задача так велика, что для осуществления их необходимо не одно поколение. Задача состоит в объединении небратских состояний (сословий, партий) города и в переходе от города к селу, или в примирении их; проект же объединения небратских состояний города с селом для общего сыновнего дела возможен только для союза журналов, а не для каждого журнала в отдельности. Для разъединенной журналистики возможно было выработать проект только конституционного государства, в котором и сама эта журналистика составляет необходимый член; чрез нее парламентская вражда становится, так сказать, враждою всего государства. Даже трудно сказать, борьба ли партий отражается в журналистике, или наоборот? Во всяком случае, разъединение — не случайное свойство и раздоры — не случайные явления; они — такая необходимая принадлежность нынешней журналистики, как оппозиция необходима парламенту. Основою же союза журналов может быть только сознание, что политические страсти и дебаты, из них истекающие, не могут создать прочного, истинно человеческого, братского общества, и что основанием для братского общества может быть только дело отеческое.

Журналы, как и всякие промышленные предприятия, отстаивают свое право на существование \*, но, производя лишь эфемерные существа, они не могут быть бессмертными, для бессмертия им недостает первого необходимого условия — согласия. По сдаче в музей для журналов наступает посмертное существование, они подвергаются исследованию; по произведению определяется автор, по журналу — редакция. Чтобы оценить себя уже в настоящее время, журналу должно представить себя находящимся в музее, т. е. не должно оставлять труда исследования одному потомству, ни даже ближайшему поколению. Если же журнал оставит исследование о себе потомству, он не может рассчитывать на славу в будущем, в чем легко убедиться, если представить себе журнал в том состоянии, в котором он находится в настоящее время, участвуя рекламами в промышленном обмане, забавляя публику фельетонною болтовнею, скоморошеством и шутовством, в передовых же статьях выражая вражду, которою раздираются сословия и народы. Вообще можно сказать: то, что в настоящее время составляет известность и доставляет барыши журналу, не послужит к его чести в будущем; самоисследование не доставит, не должно и не может доставить барышей, но оно даст прочное существование. Если бы журнал выступил на дорогу самоисследования, он сам стал бы делаться музеем, т. е. комиссиею по вопросу о неродственности, проект которого может выработаться путем примирения журналов. Тогда музей открылся бы для всех, приглашая к со-

\* Впрочем, редакции многих журналов — не просто промышленные предприятия, а фарисейско-промышленные, потому что они под видом служения общему благу, под видом бескорыстия блюдут лишь свои выгоды, не брезгуя часто никакими средствами.

вместному действию, и *только тогда началось бы примирение и журналистика стала бы превращаться в великую державу. Нынешняя же журналистика состоит из органов враждебных народов, враждебных сословий, партий и сект, и даже вражда, высказываемая журналами, сильнее вражды, которую чувствуют народы, сословия и секты, органами коих журналы служат.* И это значит, что журналистика не имеет единства, что у этой великой державы, как она неправильно и теперь уже себя называет, нет столицы, нет общей редакции; а без этого она не имеет права и на название не только великой, но и просто державы, т. е. силы, ибо *только единая держава велика, только она будет и вышею всех держав, державою держав.*

Самоисследование делает журналистику и международною, и междусловною, и междусектною, ибо самоисследование, т. е. разоблачение причин вражды, и ведет от розни к примирению. При самоисследовании журналистика из разжигательницы вражды делается миротворческою или, по крайней мере, вырабатывающею проект миротворческого учреждения, музея. До тех же пор, пока журналы не пришли к зрелому возрасту, т. е. к самоисследованию, они заслуживают упрека, обращенного к книжникам, фарисеям и саддукеям, что взяли они «ключ разумения», и сами не входят в царство самоисследования, царство международное, междусловное, междусектное, или, попросту — царство православное, как сокрушение о розни (но не космополитическое, не отрицательное только), и другим возбраняют — им бы нужно вводить, а они даже и сами не входят! Музей, куда сдают произведения журналистики, стоит перед творцами этих произведений, пред их глазами, но тот труд, который могли бы свершить они сами, они возлагают на рамена потомства; неверные прошедшему, они враждебны и будущему, ибо *ждать наступления истории, а не быть самоисториками — значит замедлять ход истории.* Исследования музея не только не страшны, они — даже и не суд, а восстановление. Музей есть выражение долга к отцам, долговое наше обязательство, по которому мы не только не уплачиваем, а даже увеличиваем свой долг. В нынешних журналах, как враждоносных, нет ни блага, ни истины, нет ничего и прекрасного, потому что *прекрасное без истины есть только обман.* Соединение тех, которые изображают различные небратские состояния и разные виды небратских отношений, должно произойти в общем усилии собирания, в созидании проекта Царствия Божия, поэмы исхода из царства раздора и общей гибели. И как только будет поставлена эта естественная цель, так и литература перестанет быть изображением разрозненных случаев, отдельных типов, потеряет эпизодический, случайный характер, и из литературных произведений родится на свет Божий одна поэма, одна драма, единая по направлению, объединяющая авторов разных мест как бы в единого, произведение, не прерывающееся и сменою поколений, предметом коего будет собирание во всемирное, всечеловеческое многоединство. Ныне же каждый журнал представляет собою враждебное другим журналам направление, и чем больше все отделы журнала пропитаны, проникнуты этим направлением, тем лучше, по-нынешнему, он вооружен, тем лучше он исполняет свое назначение, тем вернее себе. Название журналов немирными, воинственными, враждоносными — это не какая-либо метафора, ибо полемика, вызываемая теми или другими направлениями, разрешается действительными войнами, внешними или внутренними.

Существуют собственно два направления, которые разделяют наши журналы; одни из них считают идеалом или, точнее, составляют проект юридико-экономического общества по западным образцам, буржуазного или социалистического характера; это направление, по существу — городское. Другое направление отрицает западные образцы и не считает, по-видимому, удовлетво-

рительными юридико-экономические идеалы вообще, не определяя, однако, сущности самого нравственного идеала и не входя в объяснение способов приведения его в исполнение. Во всяком случае, направление это, в противоположность первому, можно назвать сельским, даже суверенно-сельским; это партия — мистическая, которая отрицает знание, хотя и не сознается в том, но с промышленностью, даже в ее крайнем развитии, расстаться все-таки не желает, и потому прикладное знание не только признает, но и уважает, хотя в нем-то, в прикладном знании, подвластном мануфактурной промышленности, и заключается зло, губительнейшее для села. Обе партии — едко критические, но вовсе не автокритические — никогда не обращались к себе с вопросом: почему они враждебны? — не считали никогда и нужным такой вопрос! Да и как могли бы они сознаться в своих недостатках, ставя в основу сознание своего личного достоинства? Им слишком чуждо нравственное величие, чтобы обратиться к автокритике, к самоисследованию; а между тем, в нем заключается не одно лишь нравственное величие, но и *новый мир для ума. Отрицая свободу только личного мнения, только личного действия, свободу личности обособленной, отрицая все это по причине отсутствия в таких личностях братства, мы найдем в братском соединении план действия такой шири, что каждая личность, отказавшись от права жить по своим прихотям, станет всемирно-историческим деятелем. И такой-то мир откроется для тех, которые защищали свободу личности, если они критически отнесутся к своей системе; это и есть автокритика, самообвинение, покаяние — слова, невыносимые для слуха нашего века, но все же спасительные!* Те же, которые защищали соборное, хорошее начало, исходящее из народного инстинкта, согласятся с теми, которые требуют разумного плана, вместо инстинктивных стремлений и неопределенных мечтаний. И если первое направление признает зло во всех небратских состояниях, совокупность которых и составляет город, признает необходимость и единства, полноты в односторонностях, то и второе может быть с ним согласно, потому что в требовании целостности, единства или полноты будет реально заключаться то самое, чего второе направление пока только смутно желает.

---

Город есть совокупность небратских состояний, из числа коих не может быть исключено и духовенство. Духовенство стало небратским состоянием, как и богословие стало специальною, отдельною, неотеческою, неродственною другим знаниям наукою, а через то и само распалось, обратилось в целую энциклопедию отдельных друг от друга, отвлеченных ученых односторонностей. Следование вопроса о причинах небратского состояния мира. Духовенство даже по преимуществу усвоило себе исследование; но внимание исследования прежде всего должно быть обращено на то разделение, которое внесено в богословскую науку, и так как разделение это внесено не нами, то исследование его будет уже первым самостоятельным шагом нашей духовной науки, и даже не науки только, но и самой жизни, ибо из двух или трех богословских наук (догматического богословия и нравственного, к которым нужно присоединить и эстетическое богословие) может составиться одна наука, и притом только соединенными усилиями трех специальностей, что требует не писания только сообража, но и обдумывания вместе (Примеч. 26-ое). При этом условии книга общего богословия будет произведением уже не одного лица, а по крайней мере трех лиц, как одного; и произведение это будет тем выше, чем лучше авторы усвоят и в мысли, и на деле учение о Троици. Сочинение не удастся, конечно, если



догматик будет уверен, что в жизни мы не должны руководиться новозаветным божественным образом, или если профессор нравственного богословия скажет, что общество не должно быть подобием Троидинобого существа, а только раздором, либо игом, смиряющим этот раздор. Такое отделение догматического от нравственного резко проводится, и даже в учебниках под учением о любви разумеются десять ветхозаветных заповедей, т. е. как бы вновь повторяется то учение, которое признано Христом недостаточным. Этим как бы хотели сказать: Христос хотя и говорил, что это учение сказано только древним, но мы, мы вам говорим, что оно — и для вас, что и вам предстоит и языческая рознь, и иудейское иго, мысль же о выходе из колебаний между этими крайностями — напрасная мечта.

Называя догматико-нравственно-эстетическое богословие произведением по меньшей мере трех лиц, мы разумеем не три особые сочинения, а приведенные к единству три науки, как выражения согласия их авторов. Если догмат о Троиединстве будет понят, как образец совместной жизни для людей, а учение об искуплении, как заповедь совокупной деятельности не одного только поколения, а многих, и именно стольких, сколько их нужно для свершения дела искупления, то и нравственное учение, если оно есть действительно богословие Троидинобого Бога, будет заповедью не для людей, взятых в отдельности, а для людей в их совокупности, всенародности, междусословности, междусектантности, от тринитариев до унитариев, будет заповедью не для дел, которые кончаются вместе с жизнью, а для дела всеобщего, для дела, в котором объединяются все науки, для которого все церковное искусство в его совокупности, до богослужения включительно, а также и все светское искусство, служат только воспитательным средством, а не действительно воссозидательным искусством (Примеч. 27-ое).

Как богословие выделилось в особую науку, так и его внешнее выражение — храм обособился от всех учреждений наук и искусств, даже от жилищ людских, и образовал особое церковное, или храмовое искусство. Храм может выйти из своего обособления только тогда, когда духовенство обратится в исследователей себя как сословия, и своих наук и искусств как специальностей. Понятно, если составление догматико-нравственно-эстетического богословия ограничится только тремя лицами или даже тремя специальностями, разумея под каждою из них совокупность всех догматистов, моралистов и эстетиков богословия, то получится только очерк божественной заповеди, только абрис всемирного проекта; для выработки же полного проекта необходимо участие всех специальных наук, понявших в своих органах неестественность своей отчужденности от других специальностей и свою рабскую подчиненность прихотям горожан и непокорность Закону Божию; необходимо участие и всех сословий, отрезающихся в своих органах (журналах) от своих небратских отношений. И одно участие в составлении всемирного проекта будет уже началом объединения.

Если бы догмат Троицы и не заключал в себе образца для нашей совокупной жизни, если бы в нем не преподавалось и задачи для нашей родовой деятельности, то и в таком случае заповедь «любить Бога всем сердцем и всею мыслью и ближнего, как самого себя» исключала бы все наши гражданские, купеческие отношения и весь наш городской, гражданский быт. Нравственное богословие, чтобы примирить заповедь с требованиями нашей жизни, ограничивает и искажает слово Божие; а между тем нет никакой необходимости и ни малейшего основания считать заповедь невозможною. Нужно только сознаться, что мы все не исполняем ее, а затем задать себе вопрос: почему не исполняем? Ответом будет исследование причин неисполнения, и все нравственное богословие

обратится в исследование вопроса: почему вся наша жизнь не обращается в дело Божие? почему мы — не ближние, а чуждые друг другу? короче — почему мы не подобие того, что мы признаем за высший образец в христианском Боге, и что нам нужно, чтобы сделаться подобием Его? И опять-таки, мы приходим к тому, что для решения этого глубочайшего вопроса нравственное богословие должно вместить в себе все специальности и все сословия, причем они не могут уже не побрататься. А между тем в совершенную тому противоположность и сами богословские науки признают законность своего отдельного, независимого одна от другой существования и не замечают, что этим самым они противоречат слову Божию, частью которого себя, однако, считают. Таково, в особенности, каноническое право. Существование его доказывает, что сословие, живущее под такими законами, небратственно в себе, небратственным пребывает и по отношению к другим, также небратским состояниям. Каноническое право хорошо, конечно, понимает необходимость своего существования для сословия, которое хотя и называет себя духовным, а состоит, как и все другие сословия, из плоти и костей. Необходимость канонического права вызывается теми же причинами, которыми обуславливается существование и других небратских состояний. Но и духовенству нужно участие в общем отеческом деле, чтобы сделаться братским, чтобы перестать быть сословием; и для духовенства нужно устранение соблазнов, представляемых городом и его жизнью; нужно не только, чтобы прихоти, но и самые нужды не ставили бы нас в неприязненные отношения к другим.

Нынешняя богословская и философская мораль, в течение тысячелетий ничему не научившаяся, берет людей в их отдельности личной, семейной, сословной, народной, т. е. в их неприязненности, и дает им правила, которые они всегда нарушали, по той простой причине, что исполнимы они только в некоторых случаях, но неисполнимы для всех. О причинах же неисполнимости эта quasi-богословская и истинно-философская мораль знать не хочет, да и не может, потому что эти причины лежат вне области, которую она себе искусственно отмежевала. А между тем в самой раздельности людей, в особобленности и отвлеченности знаний и заключается не-нравственность, а-моральность, т. е. безнравственность, потому что отдельность равна небратственности, тогда как единство равно отечественности; и разум, правильно понятый, есть искание всех отцов, как одного отца (отцы — начальная и конечная причина, знание и действие, происхождение и воскрешение); понятый же отрицательно, разум есть исследование причин небратственности и смертности. Отсюда следует, что из всех наук самая ненравственная есть философия. Она обратила или заменила отечество отвлеченным единством, а небратственность назвала отдельностью, независимостью, и этим успокоила совесть и дала санкцию раздору. Вот почему философия и стоит во главе разьединенного, безотечественного знания и разделенных, небратственных наук. Философия, как и вообще наука, стала неотечественною и небратственною потому, что и родовое общество перешло в гражданское, неотеческое, небратское. Такой переход и не мог совершиться иначе, как начав с отрицания всеродственного. Думою общества, перешедшего из родового в гражданский быт, могла быть только философия. Из философских же наук самая ненравственная есть философская этика: сделав нравственность предметом особого знания, особой науки, нравственная философия лишила нравственность всеобщности, большего зла не могла сделать ни одна наука; нравственное стало нетождественно родственному; подменив братскую любовь весьма искусно «правдою», этика или мораль дала освящение и праву, и экономии; логика, отвлеченная от разума живого, сыновнего, который мыслит об отце, обратила живой силлогизм в мертвый (наши отцы умерли, мы их

дети, следовательно, и мы умрем, вместо: мы должны воскресить их); даже и тогда, когда логика считала себя изображением Бога, каков Он есть до создания мира, и конечного духа, и тогда она делала своим предметом только безжизненные категории.

История, как наука об отцах,— подобно тому, как кладбища переносятся за город — ныне вынесена из настоящего, т. е. перестала быть мыслью и делом сынов. Очищенная от всего отцовского, история явилась в город под видом гражданской и военной, истории философии, истории искусств, словом,— под видом истории всех отвлеченностей, какие только понаделал город. И такое состояние наук не представляется уже нам небратственным потому, что само братство не кажется уже состоянием необходимым, возможным и даже желательным. Слово и все другие искусства, служившие средством для сохранения и воспоминания отцов и даже представлявшиеся способами оживления их, обращены теперь в орудия забавы; так плачи об отцах обратились в песни о вине, о любви, эпос — в романы и т. д.; подобным же образом переменили свое содержание и другие искусства.

Но если разум есть искание всех отцов, как одного отца, то и история, как наука об отцах, будет предметом и содержанием разума; и если бы этот разум был мыслью нынешнего поколения, разумом сынов, тогда и в мысли этого поколения была бы история отцов, а делом его было бы дело отеческое; тогда и психология не стала бы отвлеченною наукою о душе, и отцов и предков мы знали бы не по именам только, а по душам. Не могли бы существовать и между сынами бездушные, гражданские и торговые отношения, естествознание в его астрономической целостности было бы признано средством воскрешения, и не были бы отторгнуты от целого знания физика и химия ради комфорта одного города; растительное царство, как переходное от мертвого (минерального) к живому, и животное, также еще не окончательное (только переходное же), не были бы признаны чем-то законченным, не была бы признана законность существования этих животных форм, на которых только временно приостановилась живая сила.

Растительное царство город обратил в увеселительные сады; другого употребления городской человек ему не нашел, а между тем такое употребление нельзя назвать естественным, потому что если растения и созданы для человека, то уже верно не для увеселения его, а для чего-либо другого. Из животного царства также понаделано много забав: разного рода охоты, бой петухов, быков, гонка голубей, пляска медведей и проч. Можно ли после этого сомневаться в возрасте, в котором находится человеческий род?!... Сельский житель смотрит на растения, как на корм, а на животных, как на рабочую силу; это, конечно, естественно, но нечеловечески, неразумно естественно. Недовольство, скорби нашего времени, философия родового самоубийства — все это — только боли перехода в новый возраст.

*Если богословие не будет специальною наукою, а станет воспитательным кадром для всех наук, то и все другие науки, объединенные в нем, получат священное значение, будут священны, как само богословие; все органы этих наук станут духовными, отправляющими священную службу, ученые будут духовенством, дело духовное будет всеобщим и само духовенство не будет сословием (Примеч. 28-ое). Вопрос о праве каноническом станет тогда вопросом о праве вообще или об юридических, небратских отношениях так же, как и вопрос о содержании духовенства сольется с экономическим; оба же они соединятся с вопросом о городе вообще, а эта задача и есть та самая, которая дала основание к образованию двух вышеупомянутых главных партий, из коих одна сама в себе заключает два направления, составляющих в стране собственно городской*

две непримиримые партии, буржуазную и социалистическую. У нас между органами этих направлений не существует еще такой вражды; в них гораздо сильнее общая вражда к направлению, названному выше, не совсем впрочем точно, сельским, однако эта неточность происходит лишь оттого, что названная так партия до сих пор еще не выразила своего направления. Пока партии либеральная и социалистическая не поймут, что существенный вопрос заключается не в отношениях рабочих к капиталистам, а в отношениях города к селу, крестьян к горожанам, до тех пор, какое бы решение ни получил первый вопрос, зло, т. е. небратское состояние, не уменьшится, а, напротив, только увеличится. С городом необходимо связаны и военное, и гражданское (юридическое, чиновническое), и купеческое сословия, в городе они и останутся сословиями; будет там сносливом и духовенство, ученые же, оставаясь в городе, не соединятся в общем знании. Город и из войны сделал специальное дело, образовал регулярную армию; война из случайного явления, каким она казалась прежде, стала представляться явлением уже необходимым и неизбежным.

Нынешнее военное оружие произошло из орудий, которые имели первоначально иное назначение. Когда кочевые народы, вынужденные падежами или другими естественными бедствиями, обратили орудия защиты от зверей в орудия нападения на занимающихся земледелием, тогда земледельческие орудия перековывались в орудия защиты; когда же горожане усовершенствовали наступательные орудия кочевников, вынужденные к тому увеличением народонаселения, — что вместе с недостатком земли и хлеба и обратило их в горожан, — тогда любовь к ближайшим отцам и братьям заставила сделаться врагами дальних братьев и отцов. Кочевники, покорив земледельцев, повели их против горожан, также подчинивших себе поселян, и вот началась борьба Востока с Западом; но вместе с войной родилось и желание мира, сокрушение о войне. То, что мы называем поэмами Гомера (классическим язычеством), есть плач о войне, а христианство было первым планом примерения, для осуществления которого последователи Христа считали достаточным пробуждение одного братского чувства и напоминание об общем отце. Но война не прекратилась, напротив, отдельные войны обратились в борьбу всемирную, в одну сплошную битву, в которой можно открыть и центр позиции, заметить в действии отдельных масс и общий план; можно предусматривать и исход битвы, высказываются даже и условия мира, зарождается план учреждения — комиссии систематического изучения причин, вызвавших войну. Этот план зарождается не от произвола человеческого, источник его — в чувстве первого сына человеческого, он — исполнение заповеди того Слова, которое было у Бога.

Безусловно небратских состояний не существует, хотя и найдутся отрицатели такого положения и притом между не признающими ничего безусловного, между теми, которые отрицают существование дьявола и в то же время не догадываются, что если уже есть безусловное небратство, то нет надобности искать дьявола вне мира. *Из всех небратских состояний наименее небратское и наиболее способное перейти к братскому, отеческому делу есть, надо полагать, военное;* ибо положить душу свою за отцов и братьев — в чем долг военных — едва ли может иметь юридические и экономические основания. Сословие, принимающее на себя обязанность жертвовать своею жизнью, основано, следовательно, на такой добродетели, которой не только искоренение не желательно, но и поддержание коей необходимо; требуется лишь дать ей, этой высокой добродетели, иной, сообразный с нею, достойный ее исход. Если то братство, за которое военные полагают свою душу, обнимает собою лишь 90 или 100 миллионов людей, то ответственность за невсеобщность братства лежит на всех, и гораздо больше на мирных гражданах, которых военные защищают.

Можно сказать даже, что мирные-то и приносят военных в жертву. Если же и военные также виновны в войне, то только потому, что и они разделяют все гражданские страсти, в которых корень войны. Военное искусство основано и на естествознании, и на знании человека (т. е. обществознании); но и то и другое становится у военных односторонним, ограничивается, суживается, хотя в меньшей степени, нежели в других, небратских состояниях. Так военная наука суживает астрономию, обращая ее в топографию, для нее нет нужды и в астрономической физике и химии; наука об обществе для нее хотя и не фратрология, не установление братских отношений, но еще и не бездушная социология, каковою она уже стала для других небратских состояний.

Вместе с тем войско существует не для одной только защиты от внешних врагов, и не для предупреждений лишь войн мирных граждан между собою, но и для защиты от пожаров, наводнений, саранчи и вообще от всяких естественных бедствий; и если бы такое употребление войска (а для таких действий войска едва ли не чаще употребляются, чем для войн) было основано на знании, то военная наука была бы шире всех других и приближалась бы со стороны естествознания к конкретной астрономии, а со стороны обществознания к фратрологии, ибо такое употребление войска есть безусловно братское (Примеч. 29-ое). Военные имеют свои органы в специальных журналах, а задача военного журнала, как и всяких других специальных журналов по отношению их специальности, исследовать причины, препятствующие военным принять участие в общем отеческом деле, а вместе, и разработать ту часть проекта музея или программы, в которой решается вопрос о соединении военно-учебных заведений в музее, как высшем и общем курсе, вопрос о восстановлении кремлей и острожков в виде музеев, с чем связано и присоединение военных учреждений (главный штаб, военное министерство и проч.) к музею, как действительных сочленов.

Для специальных военных журналов военный вопрос должен состоять в исследовании причин, препятствующих обращению войска на защиту населения от естественных бедствий и вообще употреблению войска только на это дело. В этом случае военный вопрос перестанет быть специальным и потребует содействия других журналов, в особенности сельскохозяйственных, если последние откажутся от своей специальности и будут смотреть на свое дело с более широкой точки зрения. Нет отдела в военных журналах, который не мог бы быть поставлен на такие основания, которые приведут военные журналы в теснейшую связь со всеми другими; таковы вопросы военной истории, военной географии, военной педагогики. Вопрос военной истории и географии, рассматриваемый в связи со всеобщей, будет вопросом о всеобщем мире; и если условия прочного мира заключаются в обращении кочевых народов в оседлые, то такое обращение есть наша традиционная стратегия. Привести в сознание, разработать вопрос об обращении кочевых в оседлые и есть одна из задач военных журналов и вообще военной науки. Вторым условием мира служит переход от города к селу. Военное звание имеет много задатков для содействия и этому делу; так как военное звание у нас никогда не было специальным и состоит оно главным образом из сельских жителей, поэтому-то оно станет даже во главе перехода из городов в села, от городской жизни к сельской. И это действие войска не только не будет противоречием военному делу (если цель войны — водворение прочного мира), но будет именно исполнением его; не считалось же противоречием военному делу проведение войсками дорог на Кавказе, что только и привело к умиротворению Кавказа! Если военная повинность всеобща, это значит, что каждое сословие должно содействовать этому делу, его окончательному результату, водворению мира, ибо прямое участие всех в войне, очевидно, невозможно, тогда как *водворение мира есть истинное исполнение воен-*

ной повинности, как всеобщей. Поэтому естествознание, если оно будет смотреть на себя не как на знание только, а как на регуляцию, если в установлении регуляции оно сознает свою естественную цель, оно тем самым будет содействовать переходу к селу даже на городском Западе; и потому на открытие способа, посредством которого было бы возможно установление регуляции, должно смотреть, как на диверсию, как на естественную цель, как на маневр, решающий битву, разумея под нею всемирную войну (Примеч. 30-ое). Точно так же духовное и все другие сословия, имеющие целью исследование причин небратского состояния (а в том числе и причин войны, конечно), результатом чего должен быть мир,—и эти сословия исполняют, следовательно, повинность военную, и притом в прямом смысле.

Относительно военной педагогики должно сказать, что она основана на долге самопожертвования, т. е. на гораздо более нравственном начале, чем педагогика гражданская, в основе коей лежит только высокое понятие о своей личности, сознание своего личного достоинства. Военное воспитание гораздо ближе к религиозному, чем гражданское, которое, научая людей защищать свое личное достоинство, вооружает людей друг против друга, тогда как военное, как и религиозное, учит самоотвержению, самопожертвованию, хотя и ограничивает его в военном деле отечеством, и в ограниченном притом смысле. Принцип, на котором основана военная педагогика, был бы безусловно нравственным, если бы обязанности военного звания заключались также и в защите от естественных бедствий. Военная педагогика, верная своему назначению, исключает изнеженность и роскошь,—т. е. то самое, что производит город. Она требует лагерных стоянок; если же военное звание, принимающее на себя долг жертвовать жизнью, имеет целью спасение от бедствий как естественных, так и общественных, то лагерные стоянки могли бы быть полезны для изучения первых и вообще естественных явлений. Таким образом военное воспитание гораздо более соответствует истинному назначению, чем воспитание гражданское, потому что отучает от городских соблазнов и хотя отчасти обращает к сельскому делу.

Неудивительно, если военное сословие дает себе определение, не соответствующее его действительному назначению, тому, на что войско употребляется, не диво, что и военное сословие, по скромности ли или по странному недоразумению, суживает свою задачу, когда и духовенство, как это мы видели, отрекается от всеобщей задачи и ставит себе в заслугу терпимости даже к тем, которые совсем не признают этой задачи. Но терпимость означает лишь отречение от насильственных средств, а не от самой задачи, не от своего назначения. Поразительно это, однако, только с теоретической стороны и совершенно понятно с практической: духовенство потому отрекается от своей задачи, что желает остаться сословием, сохранить свои сословные привилегии; военное же звание менее всех других может быть названо сословием, и в этом отношении оно было бы наиболее христианским, если бы только и в теории признавало то свое назначение, которое ему отчасти дается уже на практике.

Отрицать военное и признавать юридическое, правовое, нельзя, оставаясь последовательным; контракт, к которому может быть сведен весь юридический быт, так называемый правовой порядок, есть, однако, не что иное, как вооруженный мир. Юридическое, правовое возникло из отрицания нравственного, патриархального, и задалось целью устроить мир между людьми, не обращая внимания на их внутренние расположения; но это-то обстоятельство и делает необходимым вооруженный мир, обращает общество не просто в *мир*, а в *мир*, что и значит вооруженный мир. Иначе сказать: право без борьбы не бывает,

юридическое предполагает военное и без военного существовать не может. Те совершенно не правы, которые нравственное считают выше юридического, но в то же время юридическое, правовое, гражданское ставят выше патриархального, т. е. родственного: не правы они потому, что родственное есть синоним нравственного.

#### ПРИМЕЧАНИЯ К СТАТЬЕ «МУЗЕЙ»

1. В таком же противоречии с самим собою находится и Кремль, из которого возникает Музей и в который сам он превращается. Кремль впадает в вопиющее противоречие, когда, защищаясь от во всем себе подобных, от тех, которые, как существа словесные, созданы для соглашения, он не защищается от силы неподобной, с коею соглашение невозможно. Но противоречие становится еще более ужасным, когда люди, не сознавая его, делаются орудием слепой смертоносной силы и не только истребляют друг друга, но и уничтожают даже прах предков, хранимый кремлями, вместо того, чтобы, сознав свою взаимную вину, объединиться для обращения самой смертоносной силы в живоносную в видах возвращения жизни праху убитых ею. В этих противоречиях и заключается вопрос о небратстве, о вражде к отцам и о средствах к восстановлению всеобщего родства. Нужно, чтобы всенародные кремли, становясь всенаучными музеями, обращали бы слепую силу разрушения в силу воссозидательную.

2. Любители кажущейся свежести называют вышедшие из употребления вещи ветошью, забывая, что если вышедшее из употребления стало ветошкою, то лишь потому, что при самом употреблении, изначала, оно было уже тряпкою. Только то не будет тряпкою, что заключает в себе силу противодействовать превращению в ветошь и гниль, а, вместе, обладает и умением, т. е. вытекающею из ума мощью всегда восстанавливать свежесть. Только воссозданное заключает в себе силу противодействия разрушению; прогресс же лишь придает благолепие тлению.

3. Вышка, как простейшая, первоначальная обсерватория, есть необходимая, естественная принадлежность музея, потому что музей есть произведение существа, принявшего вертикальное, к небу обращенное положение, которое враждою, небратством превращается в сторожевое, от неба отрешенное положение, ждущее нападения от себе подобных, а у неба просящее избавления.

4. Человек не может не творить подобий, подобия необходимы для уяснения представления и отчасти для доказательства; и если секуляризованный и секуляризирующийся храм есть музей, то армиллярные сферы, глобусы (державы) были также началом музея.

5. Картинные и скульптурные галереи то же самое для библиотеки, что рисунки, прилагаемые в конце книги; ибо то самое, что в книге, в произведении мыслителя, выражается в отвлеченных формулах, у художника выражено в картинных и скульптурных образах. Соединение библиотеки с художественными собраниями выражает не простое соседство, а служит выражением связи, существующей между отвлеченными формулами мыслителей и произведениями художников. Топоры, скребки, гончарные изделия доисторического времени и т. п. имеют отношение не к одним книгам только чисто археологического содержания или к книгам физическим, химическим, но и к самым отвлеченным, метафизическим системам, ибо инструменты химические и физические имеют такое же влияние на мысль новейших философов, какое изобретение древнейших орудий имело на мысль древних.

6. Журналистику, в противоположность музею, как «Собору», нужно назвать раздором, потому что журналистика раздробляет ученое сословие, распределяя его между органами (журналами) небратских, враждебных состояний. Таким образом ученое сословие, на место объединения, потворствует разбедению; ученые продают свои услуги различным небратским состояниям, нуждающимся в брехачах, и, следовательно, это сословие, насколько оно участвует в журналистике, ничем иным и быть не может, кроме «reptilia». Журналистика есть произведение посада, города, она — служанка женщины; если журнал помещает картинки мод лишь в конце или даже совсем не помещает их, то это вовсе не значит, что у них (как и на выставке) женщина не стоит на первом месте. Если всю журналистику рассматривать, как один журнал, то специальные журналы мод для обоих полов и всех возрастов, для мебели, обоев и т. п. должны бы занять первое место.

7. Известно, что ни Британский музей, ни Национальная библиотека в Париже не могут при всех усилиях достигнуть полноты даже в отношении книг, т. е. не могут получать все выходящие книги; они не достигли бы этого даже и в том случае, если бы правящие власти относились с большим вниманием к жалобам хранителей, а не считали бы сдачу в музей последним делом. Конечно, память в человеке теснее связана с органами действия и знания, чем музей (соответствующий памяти в общественном организме) с органами действия этого организма; но как разум не на все обращает внимание и не на все в одинаковой степени, то и память не все получает даже из того, что было в разуме, и еще менее из того, что было во внешних чувствах; кроме того, многое и из принимаемого памятью получается в ней весьма в неясных и бледных очерках, общественный же организм преувеличивает все эти недостатки человека. Впрочем, для нынешнего человека существование общественной памяти, музея, даже весьма мало понятно, и нужно удивляться, что музеи не обращены еще в магазины туалетных принадлежностей и т. п. Разум нынешнего человека уже не занимается воспитанием; у него слишком много «настоящего дела»; и притом, — по современному о себе мнению — совершенствуясь с каждым днем, преуспевающая в бескорыстии и любви к ближним, нынешнему человеку нет нужды поднимать старье, вспоминать то время, когда и он сам, и люди были, конечно, несравненно хуже. Друзья человечества уверяют современного человека, что прогресс совершается, когда человек о нем и не думает, уверяют, опасаясь, конечно, как бы человек не устремил всех своих сил на это дело; убеждая в этом, друзья человечества указывают на природу, которая совсем уже не думает, а между тем тоже будто бы идет к совершенству. К такому же совершенству, как природа, идет и человек, создавая кружева и т. п. вещи, которые не признаются им роскошью; но при таком совершенствовании роскошью, т. е. ненужною вещью, многими считается музей. Впрочем, он, если хочет стать верным изображением века (что от него только и требуется в настоящее время), должен и самому оригиналу казаться бесполезным двойником, ненужною роскошью; если же он будет только хранилищем, то и сохранению своего образа, своей тени в будущем ни наш век, ни какой-либо другой не может придать большого значения. Ахилл желал быть лучше рабом на земле, чем царем в царстве теней<sup>18</sup>; так же бы отнесся Ахилл и к сдаче в музей, но это вовсе не значит, чтобы рабское состояние было хорошо, а означает только, что царство теней еще хуже. И наше поколение предпочтет «жить» чести попасть в музей (или, что еще хуже, в школьный учебник). Живой собаке лучше, чем мертвому льву, говорит Екклесиаст<sup>19</sup>; т. е. лучше жить по-собачьи, чем пользоваться какими бы то ни было почестями по смерти!..

8. Наш век создал новый литературный род, известный под именем реклам.



Производительность этого сорта литературы поразительна, и никакой другой род литературы не имеет такого обширного круга читателей. XIX век гордится тем, что он не сочиняет раболовных од высокопоставленным лицам, как это было прежде, но зато он пишет оды вещам. Будучи чистейшею ложью по содержанию, эти оды-рекламы служат истинным выражением XIX века, и если этот род лирического излияния не получил надлежащего места в теориях словесности, то только потому, что XIX век не пришел еще к полному самосознанию; когда же для этого века наступит история, тогда дана будет надлежащая оценка и этому характеристическому явлению нашего времени. Политическая экономия, эта господствующая наука XIX века, заменившая религиозную экономию, экономною спасения, хотя и делает оценку этой литературы, но оценку одностороннюю... XIX век выразился не в рекламах только: что в литературе реклама, то в живописи и скульптуре — вывеска, а в зодчестве — архитектура магазинов, лавок; это также новые ветви в искусствах, созданные нынешним веком. Задача художников этих родов искусства не легка: они должны своим произведением привлечь, обратить на себя внимание, и притом самое рассеянное и самое сосредоточенное; они должны увлечь, ввести, так сказать, в магазин. Грубое зазывание, царствующее еще на Востоке, а отчасти и у нас, превращается в зазывание утонченное и гораздо более могучее. Вывеска преследует всюду, мозолит, как говорится, глаза. Яркие краски, позолота, величина, символика, все, даже живые картины, живые вывески, живые афиши должен употреблять в дело истинный художник для достижения своей цели. Это-то художество и есть кратия, т. е. сила, правящая нынешним миром. Те, которые думают, что XIX век не произвел своего оригинального художества, конечно, ошибаются: искусство не умерло, оно только преобразилось, т. е. исказилось в литературу реклам и в художество вывесок.

9. Если промышленность с помощью своей покорнейшей служанки, науки, доведут труд до *minimum*'а, а досуг до *maximum*'а, то все общество будет пользоваться тем, чем в настоящее время пользуются свободные от труда, достигшие досуга. Высший свет Парижа, которому подражают столичные и провинциальные города всего, так называемого, цивилизованного мира, может служить образцом того, к чему стремится нынешнее общество, того, что следует назвать царством мира сего. По описаниям этого высшего света можно составить календарь, годовой и суточный. Год и сутки делятся не на стражи и не на страды, а заимствуют свое деление от переодеваний. Переодеванье есть, впрочем, также вооружение, коим пленяют, берут в плен, если не внутренние, то внешние чувства. Сутки и год делятся на несколько переодеваний, ибо иные одежды употребляются в Париже, иные на дачах, на водах, на морских купаньях, в Италии, иные на утренних гуляньях, на обедах. Идеалом этого общества служит мир таких растений, которые цветут круглый год. Это еще новая ступень от теологии, антропологии, зоологии, это — уже фитология. Кто не видит в женской красоте божественного дара, а в искусстве одеваться высшего из свободных художеств, тот легкомыслен (*folâtre*), говорит что-то в этом роде парижский философ. И он прав в том отношении, что относиться к искусству, к художеству одевания с презрением было бы очень легкомысленно, ибо это зло крайне глубоко и связано со всем нынешним мировоззрением до такой степени, что философ даже не видит в этом зла.

10. Часть света, называющая себя Европою по имени похищенной олимпийским богом женщины-хананеянки, финикиянки, любительницы украшений, безделушек, была и остается верною и неизменною служанкою женской прихоти. Гордясь своим именем, эта часть света служила женщине в прежнее время по-рыцарски; теперь же фабрики, заводы, всемирная торговля, искусство

и наука посвятили себя служению женщине. Этой дочери Пандоры служат теперь более могучие Гермесы, Аполлоны и Минервы, чем те, коих знал Илион. Европа напрягает все умственные и физические силы свои и других частей света не для того только, чтобы женщину сделать орудием соблазна мужчин, но и сим последним силится доставить средства для соблазна женщин. Хотя Европа в самом имени своем носит объяснение всей своей жизни и истории, но тем не менее она не пришла еще к полному сознанию. Парижская выставка 1889 года доказывает это <sup>20</sup>. В основу этой всемирной выставки не была поставлена ни Пандора, ни Ева, ни Елена, ни в особенности соименная ей финикиянка Европа. Впрочем, выставка не была <бы> уже западною и европейскою, если бы поняла свою зависимость от хананейской женщины и выразила бы эту зависимость в самой выставке. И Россия вступила в служение хананеянке с Петра I, и часть России носит уже постыдное название «европейской». И азиатская Россия и другие части света делаются, если не по имени, то на деле и, по крайней мере, в верхних слоях, европейскими, так, что европейское по объему становится почти всемирным, оставаясь по содержанию односторонним (западным).

11. Пока будет существовать небратское состояние, будут являться и пророки братства, и будут увлекать многих. И таким путем, как думают некоторые, братство, наконец, установится: офицеры подадут в отставку, судьи оставят свои камеры и т. д. Но, чтобы на место оставивших свои места не явились другие, надо допустить, что не найдется ни одного человека, который бы сознательно нарушил порядок; надо допустить, что привычки, усвоенные веками, мгновенно уничтожатся!.. Впрочем, одно указание на трудность будет считаться преступлением в глазах энтузиастов; так же, как после, когда пройдет увлечение, напоминание о братстве будет вменяться в преступление. Но, оставив военную службу, куда же пойдут офицеры? В гражданскую, или по торговой части?.. Но разве в гражданской службе и в занятиях торговлей есть братство?! Если они пойдут в село, то поселяне тогда только будут братьями, когда будут исполнять долг сыновний, находясь в общении знания и действия с центрами воскрешения — науки отеческой, исследующей не причины явлений, а причины небратского состояния, ведущего к страданиям и смерти.

12. Если досугом назвать время, которое остается после удовлетворения необходимых потребностей, и притом удовлетворения вполне обеспеченного, вполне верного, такого досуга человеческий род еще не имел. Одна возможность неурожаев доказывает, что обеспеченного удовлетворения необходимым еще не было; не могло быть, следовательно, и досуга, законного досуга, который мы могли бы употребить на производство ненужного. Мы не говорим уже о необеспеченности жизни вообще и о существовании смерти, хотя и права не имеем ограничивать обеспеченность одним урожаем и уверять себя в невозможности обеспечения от смерти ради того, чтобы заняться ненужным.

13. В недавнее время (писалось около середины восьмидесятых годов XIX столетия) <sup>21</sup> появление гессенской мухи заставило город оказать внимание селу, послав туда несколько ботаников и зоологов; а теперь нашествие саранчи из тех же степей, которые когда-то высылали орды кочевников, и вместе с тем движение сельского населения, напоминающее великое переселение народов, обратили внимание города на село. Войско и сама высшая губернская власть приняла участие в обороне земли от страшного нашествия саранчи; наука же и в этом деле не изменила своей скромности и осталась в стороне. Необходимо заметить, что употребление войска в таких случаях, как истребление саранчи, и в других подобных этому, даст войску и другое, кроме войны, назначение; а если бы это последнее превысило первое, то это было бы указанием на то, что войско от борьбы с себе подобными, от дела противобратского, способно пе-

рейти к делу истинно-братскому, к борьбе с силами, грозящими роду человеческому голодом, болезнями и смертью.

14. Музей не может быть местом прений, споров, полемики между религиозными сектами, политическими и экономическими партиями и философскими школами; и этим он отличается от парламентов, митингов и даже самых церковных соборов, ибо исследование состоит в раскрытии причин споров, что не исключало бы, однако, споров, если бы причины их коренились в теоретической, а не практической области; а так как причины споров коренятся в последней, то они и прекратятся, как только будет найдено общее дело, прекратятся по крайней мере относительно самого существенного.

15. В сущности «общее» не имеет не только высшего учреждения, оно не имеет и низшего и среднего, даже и совсем нет этого общего, так как то, что ныне называется им, заключает в себе вопиющее противоречие: между Законом Божиим и всеми светскими предметами существует такое же полнейшее противоречие, как между светским и духовным вообще. Какое же воспитательное значение может иметь преподавание предметов, из которых один говорит совсем не то, что другой? (На это указывалось не раз и прежде.)

16. Храм-школа — это ячейка, клеточка, объединяющая и светское и духовное. Школа-музей служит для объединения учебного и ученого, т. е. воспитания и знания, это значит, что общее предназначено не только для высших специальных учреждений, но и для всех низших, которые все составляют одно.

17. У семьи или родства есть враг, который растет с каждым днем, этот враг — социализм, который может быть назван последним словом и неизбежным выводом Запада; и это последнее слово есть отрицание семьи. Единственное средство спасения от этого отрицателя родства — искреннее признание родства, т. е. принятие, участие в решении вопроса о причинах неродственности и о средствах восстановления родства.

18. Пасха — не праздник, а дело музея, его работа, его, можно сказать, отправление, функция, священнодействие. Но это не такая работа, сокращения которой можно бы желать, ибо она есть то на деле, что в нынешнем празднике существует только в мысли. Это не праздник, но и не будничная работа, это перевод от городского дела к сельскому, и называя это дело Пасхою, переводим, перелагаем это слово не «переходом», в коем заключается понятие бессознательного движения, а «переводом», обозначающим сознательное действие. (*Перевод* так же относится к *переходу*, как *воскрешение* к *воскресению*.) Называем *Пасхою* этот перевод городского дела в сельское потому, что и наш праздник Пасхи, в противоположность еврейскому, состоит в возвращении из столиц и, вообще, городов в села, к полевым работам, к могилам предков, потому что этот праздник есть праздник родства, отечества, братства, коим должен замеситься юридико-экономический строй.

19. Собственно этот переход или перевод означает превращение того, что делается *случайно*, т. е. *кое-где*, *кое-когда* и *кое-кем*, в *обязательное для всех* деятелей и для всех ученых: для первых делается обязательным исследование, а для вторых — деятельность, и от тех и других требуется сближение с требованиями неученых, т. е. требуется исследование не причин вообще, а причин неродственных явлений.

20. Хотя в съездах специалистов может и даже должно обнаружиться сознание односторонности, как в съездах местных исследователей и деятелей — сознание отдельности, оторванности от центра, однако такого сознания недостаточно для соединения во всенаучный, всенародный, постоянный собор или музей. Только всеобщая воинская повинность, постоянное ожидание войны, пробуждающей или усиливающей сознание смертности, может служить доста-

точным стимулом для всемирного соединения в собор по вопросу о причинах войн. Объединяя ученых, учителей и деятелей государственной и экономической жизни в качестве членов музея, мы предполагаем прежде всего всех их без всякого исключения несущими пожизненную воинскую повинность, т. е. готовыми каждый день и час к выступлению в поход, а следовательно, сознающими себя более смертными, чем граждане. Из таких-то, постоянно ожидающих войны и не забывающих, следовательно, и о своей смертности, и должны быть составлены конгрессы и музеи, и особенно международные, у коих главной задачей будет вопрос о причинах войн между народами.

21. Французская «энциклопедия» прошлого века по особенному вниманию, которое она обращала на ремесла, может быть названа проектом промышленного музея, проектом терпимости, проектом тех реформ, которые вводили Екатерина, Фридрих и другие<sup>22</sup>, и в особенности проектом создания или усиления третьего чина людей и низложения людей первых двух чинов. В сочинениях Руссо, можно сказать, заключался проект деизма,— этой неестественной религии, выдававшейся за естественную, и проект искусственной добродетели, осуществленной Робеспьером, и особенно проект возвращения к природе, гнета коей Руссо, как горожанин, не испытал. Действительного чувства у Руссо также не могло быть; была только сентиментальность, т. е. чувство поддельное, при котором можно было завидовать крестьянам, представляя их пастушками и пейзажами.

22. Немецкая эстетика, открывшая различие между искусственной литературой и естественной или народной, оставила без внимания сходство между ними. Превознося литературу народную, немецкая литература остается, однако, при своих недостатках, не находит нужным соединение индивидуальных сил для создания общего произведения, и это потому, что нигде знание не стояло в таком противоречии с делом, как в Германии. Немецкая литература не признавала за своими произведениями священного значения, да и по самому содержанию она не была священной, а напротив была отрицанием всего священного. Германия (и вообще Западная Европа), проповедуя социализм в производстве вещей, мало касалась производства словесного, художественного. А между тем присвоению в области словесной и художественной не может быть дано такого оправдания, как присвоению собственности материальной. Присвоение предметов роскоши может еще быть кое-как оправдано умственным и нравственным несовершенством присвоителей таких предметов, к ученым же такое оправдание приложено быть не может.

23. Пруссия не ограничивалась всеобщей воинскою повинностью, а основывала в то же время университет и музей; но создавая вечную казарму и крепость, она могла создать лишь несвященный музей, музей памяти, но не совести и дела, и лишь секуляризованный университет знания, а не действия, такой, который всеми своими факультетами подтверждал необходимость подчинения природе и законность вражды, борьбы между людьми. Это признание вражды законною обратило и государство в вечный надзор, в такой же суд и во внешнее принуждение. Чтобы полувойенные учреждения, надзор и принуждение, стали временными, нужно, чтобы и полувойенные состояния были не вечными; а для этого необходимо, чтобы всеобщая воинская повинность была обращена на коренную причину вражды, на слепую, смертоносную силу природы. Когда обращение этой силы в животною будет признано существующим делом, тогда музей будет не воспоминанием, а оживлением, делом, которое будет совершаться всем младшим поколением под руководством всего старшего. К человеческому и разумному Германия и Запад питает в действительности глубокое презрение, хотя лицемерно и присваивает ему великое достоинство. Отсюда

и происходит разлад между чувством и разумом. Германия думала с Кантом и Фихте, а чувствовала с Якоби, т. е. Германия то самое отвергала сердцем, что признавала умом. Но и чувство, из коего выходит Якоби — эгоистическое, а не братское: Якоби знает только «я», ему совершенно неизвестно «мы», основными предметами философии, по его убеждению, должны быть: во-первых, Бог единый или, лучше, — одинокий, а не представляющий в себе высшее выражение взаимности, во-вторых, два отрицательных свойства человека — свобода и бессмертие, а не деятельность и всеобщее воскрешение. Но что думала Германия с своими мыслителями и чувствовала с Якоби, то самое она живописала на стенах музеев, храмов, университетов, дворцов, с Корнелиусом, Овербеком, Каульбахом<sup>23</sup>, который сам называет свои апокалипсические изображения философскими диссертациями.

24. Только более, чем через сто лет после университета, дан Москве музей искусственный, но, как основанный великим двигателем Восточного вопроса (канцлером Румянцевым)<sup>24</sup>, этот Музей имеет самое живое и близкое отношение к Москве, как к 3-му Риму. Но об историческом значении этого дара Москве, о значении Москвы, как 3-го Рима, т. е. чем Москва должна быть, что должно делать москвичам, — об этом совсем не думали. Не равнодушные и безучастные, а скорее неведение и убеждение в безгрешности и невинности труда оплачиваемого и даже совершенной ненужности труда бескорыстного были причиной такого недумания; ибо великое, святое дело было бы исполнением чуждой нам воли, а потому и признано, что и совершится оно должно помимо нашей воли, т. е. трансцендентно. Только промышленность, торговля есть, по этому воззрению, наше имманентное дело, в котором выражается вся наша природа.

25. Журналистику нынешнюю можно рассматривать как одну из частей распавшегося Музея, тогда как из журналистики, освободившейся от влияния враждебных сословий и даже руководящей ими, может создаться музей, или общая редакция журналов, которая и будет музеем. Можно сказать, что музей предсуществовал в той бытовой общине, где не было еще разделения между мыслью и действием, между мыслителями, деятелями и учителями, где всякий отец и всякий взрослый был учителем младшего поколения. Но в такой общине музей существовал в самородном, зачаточном состоянии, а не так, как он должен существовать, созданный разумом и сознательным человеческим действием. Журналистика нынешняя составляет противоположность музею; она, представляя большую силу, расходует на вопросы дня, тогда как истинный, всеотеческий музей, имея в основе всеотеческое благо, остается безучастным по своему бессилию к трате этих сил на дело, чуждое отеческому, т. е. истинному благу. Из сознания журналистикою своих недостатков и возникнет проект музея, проект хода к нему, потому что, как это и сказано, сама журналистика может быть рассматриваема как одна из частей распавшегося музея, хотя сама себя она считает и делает совершенно целым, независимым существом. В музее старшее поколение руководит в исследовании младшим поколением, тогда как журналистика принимает на себя роль учителя взрослых; и это потому, что учебные заведения, низшие, средние, а также специальные, не имея общего высшего курса, который мог бы дать им только музей, выпускают, как выше сказано, недорослей, легко поддающихся руководству журналистов.

26. Хотя названия «эстетическое богословие» и не существует, тем не менее выражение богословия в искусствах, в живописи, архитектуре (что известно под именем древностей), а также в богослужении, как драматическом выражении богословия, имеет такое же право на название эстетического богословия, как предметы нравственного и догматического богословия имеют право на свои особые названия. Нельзя не заметить, что общее название этих наук —

«богословие» вовсе не значит, чтобы они составляли одну науку, имели что-либо общее; можно сказать даже, что они не имеют ничего между собою общего. Если догматическое богословие есть христианское по крайней мере в теории, то нравственное есть ветхозаветное, так как оно дает правила для отдельных лиц, а не для всего человечества, не для целых групп, составляющих человечество.

27. Понимание заповеди, как поставленной для людей, взятых в отдельности, было бы уже полным отрицанием единства, братства и отечества; хотя таким же отрицанием было бы и то, если бы заповедью не было обнято хотя бы только прошедшее, если бы заповедь не была всепоколенною, всегенерационною, как относительно прошедшего, так и будущего.

28. Ученые не составляют корпорации, ибо между ними есть военные, юристы, экономисты, т. е. дельцы, практики; ученые, профессора этих наук гораздо менее имеют связи с учеными других специальностей, если не обладают общим философским образованием, чем с сословиями, для которых они служат органами; и в этом случае единство ученых всех специальностей зависит от примирения сословий.

29. Войска существуют также и для охранения памятников; это составляет даже первую обязанность войска, как исполнение долга к отечеству, без которого братство невозможно. Без сохранения памятников невозможна археология; а она есть восстановление кремлей, острожков и сторож, защищавших могилы отцов, могилы, из которых произошли и самые храмы. Воспитание войска в долге к отечеству возможно только в этих, восстановленных в виде мурзеев, кремлях.

30. Необходимая и самая естественная задача сельской ратной повинности состоит в том, чтобы исследовать вопрос об употреблении огнестрельных орудий для содействия регуляции, так как есть предположение, что взрывчатые вещества и грохот орудий оказывают некоторое влияние на тучи и облака. Задача сельской ратной повинности состоит вообще в том, чтобы исследовать вопрос о двояком употреблении оружия, как об этом говорится в статье «Разоружение», или как орудия разрушения обратить в орудия спасения.

31. Впрочем, школьное образование вообще не будет иметь приложения, пока каждый не станет учителем, как каждый должен быть и исследователем. Не школа виновата, если даваемое ею, не имея приложения в жизни, забывается, виновата жизнь, ее уносящая, то, что к жизни неприменимы даже и те познания, которые приобретаются в школе; *не школу нужно ограничивать, а жизнь расширять*. Школа приготавливала бы всех к учительству и исследованию, но жизнь наша — купеческая, чиновничья, дает возможность лишь немногим приложить способности учительства и исследования. Если и школа не всех делает годными к учительству и изобрела специальные педагогические заведения, то только потому, что жизнь не требует от всех воспитательной способности; но не требуя от каждого умения воспитывать, жизнь, однако, почти всех делает отцами.

32. Стать в истинное отношение к евангельской проповеди или заповеди — это значит не повторять только евангельские слова или просто читать их, а применять евангельскую заповедь и план действия к своей личной деятельности и давать отчет по исполнению или неисполнению этой заповеди, исследовать все, вносящее вражду, все препятствующее исполнению благой заповеди. Повторяя евангельскую повесть о Рождестве, мы будем говорить, что, за неимением места в гостинице, рожденный от Девы положен был в яслях; это будет *чтение*. Если же мы будем содействовать учреждению приютов для бесприютных новорожденных, это будет *действие*, соответствующее непосредственному чувству и не соответствующее более глубокому исследованию причин, производя-

щих бесприютных, самую возможность такого явления. Учреждение приюта есть дело милосердия, снисхождения, а не выражение братского чувства; пока повитые в яслях, не имеющие, где главы приклонить, получают приют, как дальние родственники, — вопрос не будет решен. *Дальность зависит от узости ума и короткости памяти, которые обуславливаются ограниченностью, частностью дела. Близость и дальность существует по рождению, но смерть уничтожает это неравенство, и трудность воскрешения одинакова как для дальних; так и для близких; воскрешение возможно или для всех или же невозможно ни для кого.*

33. Но это — еще не действительное воскрешение; это только, как сказано, — копии, снимки, отпечатки, формы всех существ, в которые должна быть вложена, влита жизнь, и дальше этого не пойдем, пока природознание не будет регуляцией, рождение и рост не будут переходом в действие восстановления, пока органическая сила и материя, принимаемая формы растений, как бы собирая и воссоздавая разрушенные существа, будут тем не менее, по отсутствию в них души и по бессилию против внешних сил, повторять лишь рутинно самое себя; только музей заключает в себе органы естествознания и для изучения естественной силы и для ее регуляции, т. е. для направления этой силы к восстановлению разрушенного.

#### ДОПОЛНЕНИЕ К СТАТЬЕ «МУЗЕЙ»

Антагонизм между трудом и капиталом кончится лишь тогда, когда предметом производства будет не роскошь, но удовлетворение только действительных, а не искусственных потребностей. Вопрос о действительных и мнимых, искусственных потребностях есть вопрос санитарный и продовольственный, разрешающий проблемы нужд телесных и умственных. Сюда же относится вопрос о труде, который медицина знает под видом моциона, гимнастики, этого фальшивого, поддельного труда (который, конечно, нужен для не имеющих настоящего, например, сельского). Это показывает, что медицина есть наука городская и, в строгом смысле, не общественная; ибо хотя и существует общественная гигиена, но она прислуживается городу и, признавая даже городской быт не соответствующим требованиям гигиены, не осмеливается тем не менее дать городскому сословию совет, который предписывается истиною и благом людей. Вместо этого она изоцряется только в изобретении средств для облегчения болезней, зависящих от самых условий городской жизни и требующих, следовательно, для излечения перемены человеческого быта, превращения города в село или, точнее, примирения города с селом. Медицина и не истинна, и не нравственна по существу; она и не религиозна, и не духовна, потому что служит не делу искупления, не Богу, а лишь прихотям города. Если и можно назвать медицину нравственною, то лишь в смысле отвлеченной морали, пригодной только для отдельных лиц, в смысле нравственного Богословия, отторгнутого от догматического. Медицина — и не естественная наука, потому что последняя занимается изучением естественного, то есть врожденного, природного, тогда как лечение останавливается в бессилии пред врожденным, пред органическим повреждением или пороком. Иначе и быть не может, пока медицина составляет личный промысел, особую ветвь городской промышленности, сущность которой заключается в устранении лишь неприятных болезненных ощущений, а не в упрочении бытия, не в разумном управлении слепой силой, не в обращении ее в нравственное орудие, в орудие Слова Божия. Хотя естествознание и вводится в медицинские факультеты, но точно так же, как богословие

в университеты; а потому и оно осуждено на забвение со стороны медиков, и такое забвение не может быть даже осуждаемо, потому что оно — естественное, необходимое следствие всего, не имеющего приложения к жизни. Медицина, отторгнутая от естествознания, составила особую специальную науку, а деятели ее — особое сословие врачей. Поэтому задача специальных медицинских журналов заключается в исследовании причин такого отторжения и способов воссоединения в общем труде со всеми знаниями. Мы разумеем действительную медицину, т. е. лечение, а не единичных медиков, которые занимаются естественной наукою, как знанием для знания. Однако и естествознание, как наука о природе, о рождении, есть еще одностороннее знание, тогда как исследование причин смертности и самой смерти делает из естественных наук не только знание, но и действие.

Городская роскошь и сельская скудость — вот главные причины болезней. Медицина и теперь посылает своих пациентов, взрослых и малолетних, в село для восстановления здоровья, расстроенного жизнью в городе. Если эти частные случаи превратить в общее правило, то получится переход к селу, где и сама медицина может достигнуть истинных успехов. Восстановление здоровья и жизни есть дело не сословное, а всеобщее; врачи телесные, как и духовные, имеют временное значение, и обязанность врачебного сословия состоит в том, чтобы сословное превратить во всеобщее так, чтобы все человечество стало врачом и вся природа — лечебным средством.

Если мистическая медицина продолжает существовать наряду с рациональной, то это свидетельствует не о суеверии, а о бессилии медицины рациональной, ее слабости, обусловленной пребыванием в городе, где и все естественные науки, к своему ущербу, превратились в искусственные. Все гонения, которые медицинские власти воздвигают на знахарей, магнетизеров, — бессильны; одно только действительное излечение тех болезней, которые мнимо излечивают знахари, гомеопаты, гипнотизеры и т. п., может искоренить мистическую медицину.

В основе врачебного искусства лежит наука, но едва ли какая-либо другая профессия так суживает знание, как медицина. Для медицины природа не есть целое; если медицина и пользуется естественными силами, посылая, например, больных в теплые края, то такое пользование есть чисто пассивное; и едва ли даже отдает себе отчет в действии природы, напр<имер>, климата и погоды Египта на чахоточных. Если бы медицина обладала даже искусством воспроизводить погоду, то и тогда она не могла бы воспроизвести погоду Египта по одному тому, что не знает, *что* именно целебного заключается в ней. Природа для медиков — не живая сила, а склад лечебных веществ; медицина врачует только лица и индивидуумов, признавая, что ни одно лекарство не действует на всех одинаково, и даже на одно и то же лицо в разное время. Действует естественную силою чрез врачей в союзе со всеми людьми, т. е. всем родом человеческим в совокупности, как одним врачом, медицина признает, конечно, невозможным; а между тем она считает, по-видимому, возможным, да еще силами одного своего сословия, узнавать действие лекарств на каждого из людей и во всякое время. Если же это невозможно, то чем же отличается рациональная медицина от знахарства?!... Лечение, взятое в совокупности, далеко не соответствует болезни рода человеческого, взятой во всем ее объеме. Болезнь развивается вместе с переменою быта, с распадением на профессии, со всеми изменениями, со всею историею человеческого рода; и можно сказать, что болезнь есть родовой процесс, тогда как лечение производится врознь, отдельными лицами отдельных людей и в отдельных только случаях их жизни. А между тем в соответствие болезни, которая есть, как сказано, процесс родовой, и лечение



должно быть непрерывным действием врачей, поколений врачей, врачей всех мест как одного врача, при содействии самих пациентов, т. е. всех людей. То, что ап. Павел говорил о земледелии: «человек сеет, а возвращает Бог»<sup>25</sup>, то же было сказано и о медицине: *врач лечит, а вылечивает Бог* («Je le pensais, Dieu le guérit». — Ambroise Paré)<sup>26</sup>. Позднее говорили: «возвращает и лечит природа», — и в этом нет противоречия (хотя говорившие так, быть может, и думали заменить Бога природою), потому что Бог действует силами природы. Не будет противоречия воле Божией, а будет только повиновение ей, если и человечество в своей совокупности будет, действуя силою природы, возвращать, исцелять, оживлять, т. е. если человек делается орудием воли Божией, ибо Отец дает Сыну, а Сын дает всем человеческим сынам эту силу.

Отречение от мнимых потребностей возможно только при удовлетворении действительных; но отказ от первых дает и средства для удовлетворения вторых. Сила, труд, употребляемые на удовлетворение мнимых потребностей, обращаются на создание или восстановление действительно нужного и полезного. Нет сомнения, конечно, что оставление производства предметов роскоши сделает свободными силы, которые были им заняты, и время, которое на него употреблялось. Тогда станет осуществимым, в частности, и создание музея в его должном смысле. Но, скажут нам, сколько нужно будет этих сил и времени на создание всенаучного музея или для превращения Кремля в музей? Дело интеллигентного класса в том и состоит, чтобы исследовать и составить план для решения вопроса о создании музея, как с вещественной стороны, так и со стороны возможности для него сделаться всеобщим, дабы всех в себя собрать, всем дать подготовку и участие в умственной деятельности. В общем деле превращения кремлей в научно-воспитательные музеи объединяются и *правительство* и *общество*, т. е. весь народ; а в деле податей правительством, назначая необходимый *minimum*, может предоставить самому народу увеличивать пожертвования на дело устройства научно-воспитательных учреждений и на дело сельской воинской повинности.

Собирая все памятники борьбы и мира, от книг до простейших орудий, музеев, т. е. младшее поколение под руководством старшего, воспроизводит по этим памятникам мысленные образы борющихся в былые дни, помня, конечно, что борьба есть результат необходимости не внутренней, а внешней: люди сокрушаются о зле, а все-таки продолжают небратскую борьбу, ибо она стала во всех, в большей или меньшей степени уже как бы врожденною. Поэтому и образы предков восстанавливаются хотя и такими, какими их сделала внешняя необходимость, но вместе с тем показывается и то, какими они были бы, если бы не действовало на них давление внешних обстоятельств, такими, какими будут их потомки, если давление внешней необходимости будет устранено.

Гробовая тишина, безмолвие кладбища есть общий признак нынешнего музея, делающий из него глубокую противоположность шумному, промышленно-торговому городу, среди которого он обыкновенно находится. Археологическое отделение музея с его обломками, покрытыми ржавчиною вещами, а также черепа и кости антропологического отдела, — эти выходы из могил, — это тоже кладбище, но со вскрытыми могилами. Музей, можно было бы сказать, и есть кладбище, перенесенное и поставленное в центр города, если бы музей не стоял вообще одною инстанцією выше кладбища, ибо тут уже некоторый протест против смерти, борьба с разрушительною силою, и пока существует музей, победа смерти еще не полна\*. Музей потому и не кладбище, что

\* Музей и выше, и ниже кладбища; если бы *братство* не было целью музея, то касаться праха умерших было бы святотатством.

он хранит не разрушенные только тела, но и души. Для хранителя библиотека есть книгохранилище, а для читающего она делается уже душехранилищем, ибо, читая, нельзя не представлять автора; читающий невольно рисует в своем воображении портрет его, слышит его голос, входит в его чувства и мысли; но все это делает ненамеренно, независимо от *воли*, только потому, что не может этого не делать, хотя чтение и не есть еще дело. Нужно же, повинуясь невольному влечению, поставить себе задачу восстановления, по произведению, по книге, ее творца, автора, и тогда это будет уже не чтение, а разбор, исследование. Критика — еще не исследование, ибо она, принимая и умерших как бы за живых, делает с ними то, что предосудительно по закону братства делать и с еще живущими, — т. е. осуждает, карает тех, обязанность к которым заключается в восстановлении. *Критика как осуждение есть кощунство*. И исследование — термин юридический — отзывается варварством даже по отношению к живущим и уже совершенно неприложим к умершим: бить убитого, привязывать к позорному столбу, как выражаются поэты-обличители, — такие выражения отводят веку, в котором они употребляются, невысокое место. В сущности, *исследование есть священное дело восстановления*, которое еще не начиналось и только приближается к отшедшему. Для времен доисторических история едва наступает, а для новопреставленных восстановление, т. е. история должна бы начинаться с самого их преставления, отшествия. А если бы восстановление было не мысленное только, то за смертью непосредственно следовало бы и возвращение к жизни; для тех же, которые еще при жизни делаются своими историками, и совсем не было бы смерти.

Чтение, как препровождение времени, как развлечение, есть профанация книги, и библиотека не исполняет своего назначения, когда делается только читальнею, и повинна в том же грехе, как и ее читатели. Кабинеты для чтения, торгующие чтением, совершают грех святопродавства; это, конечно, грех общий нашему веку, обратившему все в предмет торга. Вопрос разумного существа при входе в музей, при виде книг и других произведений: кто написал эти книги, кто произвел, рисовал, изваял и т. д. все эти произведения? Об этом-то и поведает и даст ответ муза или хор муз своим истинным поклонникам, т. е. сынам-восстановителям; причем ответ полный может быть дан не каждому исследователю в отдельности, а только всем в совокупности, ибо *истина дается только братству*. Невольное представление, при чтении произведения, лица автора, превращается при исследовании в последовательный, систематический акт восстановления жизни (житий, биографий) из всех произведений прошедшей деятельности человеческого рода \*. Этот акт восстановления основывается на коренном свойстве ума, на самой сущности его, которая есть познание, искание причины, притом причины живой, личной, если ум не отделен от чувства и других способностей, если сам исследователь целен и жив. И религия, как живая сила, требует, чтобы верующий и молящийся не останавливался на произведении, на образе, на книге, которая есть также изображение, а переходил бы к оригиналу не того, что изображено (предмет изображения может быть и безобразен), а к тому, кто изображал, к автору, художнику, извлекая из нечистого тления, ибо музей принимает все отжившее, тленное и растленное, — в нем *«сеется не в честь»*, но зато *восстает только в славе* <sup>27</sup>.

Исследование, в смысле восстановления, требует подготовки; из этого понятно, почему такое важное значение имеет *разбор* сочинений в школе. Но разбор, анализ, разложение был бы бесцелен, совершенно непонятен, если бы из

\* Библиотеки, книги могут, вероятно, дать образы только поколений, для которых, как для туманных пятен, нужны сильные инструменты, чтобы разложить их на отдельные личности.

разбора произведения не возникало восстановления жизни автора. Школьное образование, в котором такое значительное место занимает словесность\*, останется без приложения, если в задачу жизни не будет входить работа над библиотекою, над превращением ее в собрание биографий. Разбор сочинений, ограничивающийся анализом часто без всякого отношения к жизни автора, имеет только формальное значение, действует только на развитие ума, отвлеченного от других способностей; но он мог бы получить и живой смысл, мог бы воспитывать всего человека, если бы был дополнен синтезом, сложением образа автора по его сочинениям. В таком случае библиотека, которая теперь есть собрание книг, не согласных по содержанию, чуждых, враждебных друг другу, стала бы единою книгою по внутреннему согласию, ибо чуждость и враждебность крылась не в них самих, не в творцах этих книг, а во внешней необходимости. Но чтобы изменить эту часть преподавания, нужно вообще в иное отношение поставить человека к книге, так же, как и к картине и к другим произведениям искусства. Человек — прежде всего деятель, чтение же и письмо только средства; но и чтению нужно учить чрез письмо, т. е. письмо должно предшествовать чтению, точно так же рисование должно быть предпочтено наглядному изучению по картинкам; вообще *активное* должно быть предпочтено *пассивному*, потому что музей и не читальня, и не зрелище: музей создает проект и приготавливает его исполнителей. Слово есть выражение веры, письмо есть выражение исследования, и если чтение будет исследованием, оно будет выражаться в письме; исследование же есть переход к действию. Письмо не может быть целью, оно только средство для действия по общему плану.

Когда письмо делается целью, тогда оно становится художественным произведением, иллюзией. *Письмо есть средство против забвения и пособие для составления плана действия, восстановления.* Что же не может быть выражено в этом плане письмом, то должно быть дополнено чертежом, рисунком (*живопись* же в нынешнем смысле есть иллюзия). Для чего недостаточно чертежа, рисунка, для того необходима модель. Вся литература и искусство есть только средство для составления плана *воскрешения*. Но для плана воскрешения недостаточно ни моделей, как стереометрических изображений, скелетов, ни вообще всех средств литературы и искусства; физические и химические опыты также суть дополнительные средства, пособия, при составлении плана воскрешения. Искусство же для искусства и наука для науки суть только *мании, латрии*, как библиомания, библиолатрия.

До сих пор письмо служило для не нравственной, небожественной цели, ибо только при помощи письма, пера, могла создаться и держаться нынешняя юридико-экономическая система. Употребить письмо при строении Царствия Божия — значит сделать его нравственным орудием. Грамотность в ее активном виде, в письме, рассматриваемая как пособие памяти *о своем долге* к отцам, как пособие разуму для исполнения этого долга, — есть вопрос полный, конкретный. Записи, *крепости*, служили, как и в настоящее время еще служат, средством против забвения *другими* своего долга нам; в евангельском же смысле запись есть гарантия против *наших собственных слабостей*, и *весь храм-музей с его службами есть архитектурное, всехудожественное выражение наших долговых обязательств к отцам; потому и нельзя ограничиваться храмом с его службами, а необходимо должно быть и внехрамовое, внемузейское дело.*

Но не будет ли восстановление привилегиею только немногих, не будет ли оно уделом лишь тех, произведения коих попали в музей? И будет ли восста-

\* Словесность нельзя признать за самостоятельную науку: это значило бы отделять слово от дела.

новление, как действие, обязанностью всех? — Для разрешения этих вопросов нужно прежде всего не забывать, что под *музеем* разумеется совокупность всех местных приходских музеев — объединенных в центральном, соборном музее, — для которых церкви служат началом, основой, так что ни одно человеческое, рожденное и смертное существо не пройдет бесследно, ибо всякое человеческое — родившееся существо должно пройти чрез школу в музей, функция которого восстановление. А потому и необходимо, чтобы школы были везде, где есть рождающиеся, и музеи — где есть умирающие. Кроме того, самая возможность собственного восстановления заключается в восстановлении других: чем более восстановитель влагает в предмет, в произведение восстановления сил своей души, тем более он сам выражается в этом произведении, *так что между восстановленным и восстановителем более родства, чем между сыном и отцом*. Можно даже задать себе вопрос, что лучше выражает, что вернее воспроизводит собственную личность — *автобиография* или же биография другого? Умственное, научное требование не будет ли согласно с нравственным, которое, конечно, дает предпочтение биографии другого, или, вернее, патробиографии пред автобиографией. Каждая биография, иллюстрированная живописью и всеми музейскими средствами, возвышает, возвеличивает личность, но не в ущерб общему, и *Всемирный Музей* будет совокупностью не приходских только музеев, но и музеев личных, глубоко объединенных не столько в центральном музее, сколько во всеобщей их взаимности. Эта-то взаимность и будет осуществлением образа Триединого Бога — отечества и братства.

Музей, как собор исследователей, пользуясь музеем, как книжным собранием с его всестороннею иллюстрацией, воспроизводит из всех произведений их творцов \*, и в то же время снимает копии, и письменные, и живописные (портреты), и всякие другие этого рода, с оригиналов отходящего поколения, призвав к участию в этом деле и волны света (фотография), и звуковые волны (фонограф). Каждое поколение, будучи писателем житий, художником, создающим изображения своих отцов, будет само оригиналом для своих сынов, для следующего поколения. *Каждый сын, полагая в дело восстановления отцов всю душу свою вольно и свободно, сохраняет этим самым свою душу неволью*. Кто хочет спасти других, тот спасает самого себя: в биографии другого, т. е. в патробиографии заключается автобиография сына, которая и будет извлечена из первой следующим поколением.

Однако и это копирование, снятие образа, не есть просто спасение или сохранение того, что было в действительности, но должно стать искуплением, восстановлением изображаемого в том виде, в каком он был бы, если бы давление внешней силы, рока, того, что древние называли фатумом, было устранено, — в том виде, в каком изображаемый, ясно или смутно сознавая, желал бы быть и сам. На это-то восстановление и будет сын полагать наиболее души, сердца, чувствуя и в себе те недостатки, которые будет находить в изображаемых оригиналах — в оригиналах родителей, которых и сам есть живое подобие. В задаче сына заключается требование реального и идеального. Когда каждый человек будет иметь свою книгу, произведение всей жизни, куда с возможно большею полнотою перейдет душа его, тогда тела человеческие по смерти будут переходить на кладбище, а человеческие души под видом этих книг, книжек, книжечек \*\*, будут возвращаться в музей, где умерший получил

\* Нужно заметить, что не только древние поэмы были произведением не одного автора, но и наши новые книги суть произведения многих и даже целых поколений.

\*\* *Книжечек*, т. е. того самого, что народ называл «*душечками*» (души умерших, которые и изображались в виде младенцев), — выражение, которое нам кажется сентиментальным, а между тем

воспитание, ибо музей есть небо для этих душ-книг. Но возвращаться в музей они будут не для того, чтобы оставаться на полках, а чтобы быть воспринятыми в души живущих и быть возвращенными восстанавливаемым телам, ибо сущность музея есть деятельность, действие восстановления, остановка этой деятельности есть его падение и смерть. Музей исторический был восстановлением лишь в памяти, простым воспоминанием, если бы он не был соединен с музеем естествознания, дело которого есть восстановление материальное, *действительное воскрешение*. Если без восстановления, как сыновнего дела, не может быть братства, то и без братства не может быть восстановления.

Предмет спора, раздора между буржуазией и рабочими, между либеральной и социалистической партиями, хотя он и не называется настоящим именем, есть городская роскошь. Эта же роскошь, производство которой считается делом, достойным человека, мешает и той партии, которая названа сельской, понять настоящее свое положение; она же держит и все науки в разъединении и заставляет их работать прихотям города. Когда пред мыслью, понявшему причины раздора, откроется великое отеческое дело, в котором все науки могут объединиться, и объединиться не искусственно, а естественно, тогда науки, насильственно отделенные одна от другой и поработанные городом, освободясь от этого рабства, будут возвращаться часть к части, каждая к своему составу. Все науки, сознавшие в своих специальных органах свое служение небратскому делу, представят картину воссоединения наук и соединения служителей их, т. е. ученых, в один собор. *Это и будет всенаучный музей.*

Мысль, исследующая раздоры в видах соединения для общечеловеческого дела, объединит и художников всех направлений, всех мест для одной поэмы, иллюстрированной, драматизированной, не оканчивающейся со смертью даже целого поколения, так что произведение одного поколения будет одним только актом драмы. Мысль, пользующаяся всеми художественными средствами, не разъединяемая пространством, не разрываема временем, действуя воспитательно, объединит искусство и соберет всех художников в один собор. *Это и будет всехудожественный собор-музей.* Драма, выходя из исследования причин разъединения по месту и по времени, из исследования причин, препятствующих тому, чтобы она была объединенным действием всех мест и многих поколений, объединит все наши направления в одном, естественно-человеческом действии. Не может и не быть единства, если произведение выходит от сотрудииков, литераторов, художников всех редакций, пришедших к согласию, когда оно, это произведение, есть плод их общего творчества. Три пресловутые единства драмы, которых требовали классики и которые отрицались романтиками, могут быть приняты теми и другими, если в основе будет *единство самой действительности*, потому что единство места, несмотря на обширность пространства, обнятого действием, *будет действительно*, если местные силы будут действовать согласно с центральными. Создастся и единство времени, если произведение последующих поколений будет лишь продолжением произведения предыдущих, так что, как бы ни продолжительно было время, которое произведение обнимает, единство оттого утрачено быть не может. Итак, это будет *музей трех единств*: объединением направления выразится *единство действия*, объединением всех местностей в центре выразится *единство места*, и в такой, наконец, последовательности поколений, при которой младшие поколения будут действовать под руководством старших, выразится *единство времени*.

принадлежит оно народу, который стоит вне подозрения в сентиментальности; *душечки* есть выражение любви к умершим и сознания неполноты их жизни; это не *души*, а именно только *душечки*.

Истинный музей есть музей всех трех способностей души, объединенных в памяти, т. е. он есть выражение согласия и полноты душевной, ибо он есть разум, не только *понимающий*, но и *чувствующий* утраты, и не только чувствующий, т. е. не скорбящий только, но и *действующий* для возвращения, для воскрешения утраченных. Музей не допускает отвлечения от всеобщего *блага* ни знания, или *истины*, ни художества, т. е. красоты; но только память делает благо всеобщим. Если из разума, или знания, выделить нравственное начало, знание будет служить чувственности, произведет промышленность и подчинится ей, т. е. вследствие такого выделения нравственности из разума, произойдет город, промышленная выставка. При отвлечении от знания нравственного начала, знание не может остаться даже чистым, т. е. равнодушным к чувственности; город же без чистого знания — это идеал четвертого сословия, которое понимает только приложения, а чистым знанием не дорожит. Отвлеченное же от художественного, знание будет мертвым. С своей стороны, художественное, отвлеченное от нравственного начала, также обратится в промышленность, в мануфактурное производство, в промышленно-художественный музей. Отвлеченное от нравственного начала искусство не может быть даже искусством для искусства. *Прекрасное*, отделенное от нравственного, будет чувственною красотою, которая создает общество полового подбора, живущее для настоящего и забывающее прошедшее. Если же отделить от прекрасного истинное, то получится обман. *Благо*, отделенное от прекрасного, будет страданием, а не блаженством; оно не может быть при этом даже мертвым, бездушным аскетизмом. *Благо же* без знания, невежественное благо, обращается или в личную, эгоистическую добродетель, бессильную уничтожить зло, об уничтожении которого такая добродетель даже не думает, или же оно (невежественное благо) обращается в гражданскую добродетель, которая состоит или из пассивного страдания, *или же делает действительное зло одним ради воображаемого блага для других*. Нравственное, благое, истинное, прекрасное, — стали отвлеченными понятиями, тогда как они должны быть необходимою принадлежностью жизни, составлять самое существо человека.

Чувство прекрасного, или эстетическое чувство, возможно только у разумно-нравственных существ, и предметом эстетического чувства может быть только одушевленное, т. е. тоже нравственно-разумное существо; ибо если и находят природу прекрасною, то только потому, что приписывают ей душу, чувство. Если и в произведениях искусства находят прекрасное, то и это потому, что видят в них нечто живое. Прекрасным может быть только общество, т. е. союз одушевленных существ. Приписывать прекрасное только обществу не значит ограничивать прекрасное, ибо искусство есть напоминание, а воскрешение, как осуществление хранимого в памяти, есть расширение общества на все поколения, которые и будут душою всего мироздания. Т. е. природа, когда будет управляема разумом, станет выражением человеческой мысли и чувства, сделается, следовательно, истинно прекрасною.

Все эти три свойства Бога и человека — благо, истина и прекрасное, — неделимы между собою; не отделимы они и от того, кому принадлежат. Не могут делаться они и принадлежностью отдельных сословий, — истина не может быть принадлежностью ученых, а прекрасное принадлежностью художников. Прекрасное не может принадлежать бездушным вещам, ни даже лицам, взятым в их розни или подчинении. Все эти свойства принадлежат только Богу, как Троидиному, и человеку, как многоединому.

сяга, подати, суды, военная служба), к замене государственной формы жизни единением людей на внутренних, евангельских началах.— 358.

<sup>35</sup> X и XI главы сочинения Толстого были посвящены критике государства как института узаконенного насилия: «Христианство в его истинном значении разрушает государство (...), для каждого искреннего и серьезного человека нашего времени не может не быть очевидной несовместимость истинного христианства — учения смирения, прощения обид, любви — с государством, с его величием, насилиями, казнями и войнами. Исповедание истинного христианства не только исключает возможность признания государства, но и разрушает его. (...) Если человек, вследствие выросшего в нем высшего сознания, не может уже более исполнять требований государства, не уместается уже более в нем и вместе с тем не нуждается более в ограждении государственной формой, то вопрос о том, созрели ли люди до отмены государственной формы или не созрели, решается совсем с другой стороны (...) — самими людьми, выросшими уже без государства и никакими силами не могущими быть возвращенными в него» (28, 186—188).— 359.

<sup>36</sup> См. примеч. 115 к III части «Записки» — Т. I наст. изд., с. 486.— 360.

<sup>37</sup> Неточная цитата из сочинения «Царство Божие внутри вас» (28, 41—42).— 360.

<sup>38</sup> Речь идет о статье историка Николая Павловича *Загоскина* (1851—1912) «Граф Л. Н. Толстой и его студенческие годы» (*Исторический вестник*, 1894, № 1, с. 78—124). В главе «Происхождение и родство графа Л. Н. Толстого» он писал о том, что «Война и мир» «в существеннейших частях своих восстанавливает фамильные отношения ближайшей родни Л. Н. Толстого, не выключая и его отца, графа Николая Ильича («Николай Ростов» романа), деда Ильи Андреевича (Илья Андреевич Ростов), матери Марьи Николаевны Волконской (княжна Марья).— Указ. соч., с. 82.— 362.

<sup>39</sup> Речь идет о построении в 1892 г. церковно-приходской школы в с. мордовском и русском Качиме Городищенского уезда Пензенской губернии, осуществленного совместным трудом детей и родителей (см. Пензенские епархиальные ведомости, 1892, № 29). Федоров неоднократно касался этого события в своих статьях, видя в нем «истинное проявление того духа, который выражался в прежнее время в построении обывденных храмов» (*Философия общего дела*. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова. Т. 1, Верный, 1906, с. 722).— 366.

<sup>40</sup> Работа В. А. *Кожевникова* «*Бесцельный труд, «неделание» или дело?»* (первое издание — М., 1893, второе — М., 1894) была посвящена разбору трех точек зрения на труд: Э. Золя (в речи, обращенной к французской молодежи, он провозгласил «труд», «правильный ежедневный урок, который каждый должен задать себе», «единственным законом мира, единственным смыслом жизни»), А. Дюма, опровергавшего Золя и утверждавшего, что труд, который он проповедует, не утоляет запросов человеческого духа, потребности в абсолюте, не побеждает зла и несчастья, и Л. Толстого, сторонника идеи «неделания» (см. примеч. 33). По мысли самого Кожевникова, выход для человечества, находящегося ныне в состоянии острого духовного кризиса (пессимизм, неверие в цивилизацию, разочарование в путях прогресса) может быть найден не в «бесцельном», узко практическом труде, но и не в отказе от деятельности, а в «труде совокупном, всеобщем, добровольном и исходящем из всеобщего сознания и решения и к общей, единой, всеобъемлющей цели направленном», в труде, который будет служить «водворению блага, добра, Царствия Божия в мире» (В. А. Кожевников. Указ. соч., с. 3, 25).— 367.

<sup>41</sup> См. примеч. 1.— 368.

### *Музей, его смысл и назначение*

Статья посвящена музею, одной из основных реалий федоровского проекта идеального общества. Идея музея раскрывается мыслителем на имеющихся образцах, чтобы затем вместить богатое проективное содержание.

Музей у Федорова — это грандиознейшее предприятие собирания, хранения, изучения всех остатков прошлого, всех малейших «отпечатков» ушедших людей на их делах, вещах, документах, дневниках, преданиях, книгах, произведениях искусства и т. д. Речь идет о тотальной консервации памяти, причем в идеале четко индивидуализированной. При этом единственный глубокий смысл собирания мертвых вещей в том, чтобы за ними видеть, по ним воссоздавать их авторов. Как место собирания остатков былого, как орган вещественной памяти прошлого, музей никоим образом не может быть отвлеченным познанием или исследованием, ставящим целью критику, обличение или суд над кем бы то ни было. Музей должен, по Федорову, одушевить познание сыновним чувством, дать ему направление в качестве «общего дела».

Музей для Федорова становится своеобразной формой культа предков, но формой не пассивной, а действенной. Хранение здесь должно быть дополнено исследованием, а исследование перейти в деятельность. Свой особый вклад в «общее дело» музей призван осуществлять через исследование причин неродственности. Единый метафизический корень неродственности разветвляется во все стороны жизни, так что познание ее в бесчисленных конкретных проявлениях может быть только делом всех. «Всенародный», «всеенаучный» музей становится сорбным пунктом такого повсеместного исследования, завершающим этапом образования всех в духе братства, по отношению к которому все учебные заведения становятся подготовительными факультетами.

Федоровский музей — это, по существу, вселенская церковь «всеобщего дела», активного христианства, призванная восстановить братскую связь всех людей. Вступление в музей становится вступлением в церковь, как гигантское тело всего человечества, восприятием заповедей о целях и обязанностях «сынов человеческих», печалующихся о смерти отцов. При этом воспитание нравственно сознательных братских личностей из «прихожан» музея должно быть распространено на все народы и каждый народ как единство, — как и задача «исследования, учительства и деятельности» — трех основных функций музея. И тогда все человечество «из стихийной силы» станет «совокупностью нравственно разумных личностей, братством». Рождение такого родственного, сыновнего сознания станет, по глубокой вере Федорова, началом духовной, творчески преобразовательной эры.

Работа печатается по: Философия общего дела. Статьи, мысли и письма Николая Федоровича Федорова, т. II, М., 1913, с. 398—473. К ней же прилагается и «Дополнение», которое было найдено В. А. Кожевниковым и Н. П. Петерсоном в бумагах Федорова и предназначалось ими для третьего тома «Философии общего дела» (ОР РГБ. Ф. 657. Карт. 3. Ед. хр. 3. Л. 182—187об.).

<sup>1</sup> *Ионийские мудрецы* (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Гераклит Эфесский, Диоген Аполлонийский) — представители древнегреческой философской школы VI—IV вв. до н. э. Развивали мысль о единстве сущего, об общем первоначале всех вещей мира (вода, воздух, огонь, «беспредельное»), большое значение придавали космологии. — 373.

<sup>2</sup> *Гномон* — астрономический инструмент, служивший для определения высоты солнца, времени, времен года, равноденствия. Изобретен философом Анаксимандром (ок. 610—546 до н. э.). — 374.

<sup>3</sup> *Анаксимандр* (см. примеч. 2) началом всего сущего считал «бесконечное» (апейрон), из которого выделились бесконечные космосы (они рождаются и гибнут, возвращаясь в то, из чего возникли). Из «апейрона» образовалась и Земля, и окружающие ее Солнце, Луна и звезды. При этом Землю Анаксимандр представлял цилиндрообразным телом, находящимся в центре космической сферы и ничем не удерживаемым. — 376.

<sup>4</sup> *Фалес* (ок. 625—547 до н. э.) — древнегреческий философ, родоначальник ионийской школы. Началом всех вещей полагал воду. Занимался астрономическими наблюдениями (открыл природу солнечных затмений, солнцевороты, Малую Медведицу). — 376.

<sup>5</sup> *Анаксимен* (ок. 585—ок. 525 до н. э.) — ученик Анаксимандра. Полагал вслед за учителем, что субстратная естественная субстанция одна и бесконечна, но в отличие от Анаксимандра считал ее не неопределенной, а конкретно-определенной (воздух). — 376.

<sup>6</sup> право на существование, разумное основание (*франц.*). — 376.

<sup>7</sup> *Аполлоний Тианский* (I в.) — главный представитель неопифагореизма, противник христианства. Основал в Эфесе пифагорейскую школу, названную им «музеем». — 378.

<sup>8</sup> *res publica* — общественное дело (*лат.*), *res fratria* — братское дело (*лат.*). — 383.

<sup>9</sup> Федоров касается одного из этапов истории создания *Берлинского художественного музея* (открыт в 1830 г. на базе коллекции бранденбургских курфюрстов и прусских королей). С начала XIX в. велась активная подготовка к открытию «всеобщего музея» по всем отраслям истории и искусства. Была выпущена опись коллекций «Королевского художественного, естественного и античного музея» (*Allgemeines Verzeichnis des königlichen Kunst-, Natur-historischen und Antiken Museums. Berlin, 1805*). Однако наполеоновское нашествие разрушило эти планы. Часть коллекций была эвакуирована из Берлина, часть — вывезена французами. Лишь в 1809 г. началось строительство Пергамон-музея, первого на музейном острове. — 387.

<sup>10</sup> Движение народа Греции за независимость, против османского владычества первоначально выражалось в форме тайных обществ — гетерий. Наиболее известной из них была гетерия «Филомуза» — товарищество друзей наук и искусств — основанная в Афинах в 1812 г. Ее целью было распространение образования в Новой Элладе, открытие новых школ, предоставление молодым грекам возможности обучаться в учебных заведениях Западной Европы. Общество издавало газеты, открывало библиотеки, участвовало в археологических раскопках, заботилось о сохранении древностей. — 387.

<sup>11</sup> *Матицы* — культурно-просветительные общества, основывавшиеся в первой половине XIX в. ревнителями национального возрождения славян Австро-Венгрии, Германии и др. областей (Матица сербская — в 1826 г., Матица чешская — в 1830 г., Матица хорватская — в 1842 г., Матица сербо-лужицкая — в 1847 г., Матица моравская — в 1852 г.). Развивали разностороннюю деятельность в области народного просвещения: организовывали библиотеки, читальни, народные чтения, литературные вечера, издавали литературу на национальных языках, в том числе и специальные филологические, исторические труды, устраивали концерты народной музыки и др. — 387.

<sup>12</sup> *Баранта* — у кочевников Туркестана набег с целью угона скота. Предпринимался с целью отомстить обидчику, причем в набеге участвовали родственники и друзья потерпевшего. Часто вызывал ответную месть, что вело к продолжительным междоусобицам среди родов и кланов. — 387.

<sup>13</sup> В одной из статей цикла «Гамбургская драматургия» Готхольд Эфраим Лессинг (см. примеч. 74 к «Статьям философского и эстетического содержания») приводит следующую цитату из



«Поэтики» Аристотеля, касающуюся того, какие именно события наиболее способны возбуждать страх и сострадание и, следовательно, наиболее пригодны в драме: «Все события <...> непременно должны происходить или между друзьями, или между врагами, или, наконец, между людьми, вполне равнодушно относящимися друг к другу. Если враг убивает своего противника, то этот замысел и его осуществление возбуждают только то сострадание, с которым люди всегда относятся к горестным или пагубным явлениям вообще. Точно то же бывает и в тех случаях, когда дело касается людей равнодушных. Значит, все трагические события должны происходить между друзьями; брат должен убить или покушаться умертвить, или как-нибудь иначе чувствительно оскорбить брата, сын — отца, мать — сына или сын — мать». (Сочинения Лессинга. т. V, СПб.—М., 1883, с. 237).—387.

<sup>14</sup> См. примеч. 39 к «Самодержавию».—402.

<sup>15</sup> Речь идет о «Слове о полку Игореве».—403.

<sup>16</sup> См. примеч. 103 к «Собору».—Т. I наст. изд., с. 502.—404.

<sup>17</sup> *Синодальная патриархья библиотека* в Москве (название Синодальной получила после передачи ее в 1721 г. в ведение Св. Синода) создавалась в течение нескольких веков под покровительством патриархов московских, включив в себя, в частности, книжные сокровища Кирилло-Белозерского, Троицкого и др. монастырей, собрание св. Дм. Ростовского и др. духовных лиц, оригинальные и переводные труды ученых XVII и XVIII вв. *Императорская публичная библиотека* была основана в 1795 г. в С.-Петербурге (открыта как публичная библиотека 2(14)января 1814). Ядро ее составила библиотека братьев Иосифа и Андрея Залусских, открытая ими в Варшаве и завещанная государству, которая в 1794 г. была привезена в С.-Петербург после занятия Варшавы войсками Суворова.—406.

<sup>18</sup> Федоров имеет в виду слова, сказанные тенью Ахилла Одиссею:

Лучше б хотел я живой, как поденщик, работая в поле,  
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,  
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать, мертвый

(«Одиссея», пер. В. А. Жуковского).—423

<sup>19</sup> Еккл. 9:4.—423.

<sup>20</sup> См. преамбулу к статье «Выставка 1889 года».—Т. I наст. изд., с. 514.—425.

<sup>21</sup> Примечание в скобках принадлежит В. А. Кожевникову и Н. П. Петерсону.—425.

<sup>22</sup> «Энциклопедия» — см. примеч. 2 к статье «Выставка 1889 года».—Т. I наст. изд., с. 514.

Особое внимание при ее составлении французские просветители уделяли технике. Д. Дидро специально посещал мануфактурные мастерские, изучая новейшие механизмы, технологии и т. п., чтобы затем дать их описание в словаре. Идеи Просвещения захватили многих представителей царствующих домов в Европе. *Екатерина II* (1729—1796) состояла в переписке с Вольтером, с ним же, как и с другими французскими энциклопедистами, был связан и прусский король *Фридрих II* (1712—1786). В период их правления в России и Пруссии был проведен целый ряд реформ, многие из которых были проникнуты духом «просвещенного абсолютизма». При этом особое внимание уделялось развитию промышленности и торговли.—427.

<sup>23</sup> *Корнелиус, Каульбах* — см. примеч. 38, 57 к статье «Собор».—Т. I наст. изд., с. 497, 499.

*Овербек* — см. примеч. 72 к «Статьям философского и эстетического содержания».—428.

<sup>24</sup> *Румянцевский музей* был создан на основе собрания книг, рукописей, монет, этнографической и др. коллекций, составленных Николаем Петровичем *Румянцевым* (1754—1826), русским государственным деятелем и дипломатом, и переданных после его смерти государству. Сначала размещался в Санкт-Петербурге (был открыт для обозрения в 1831 г.). В 1861 г. собрание было перевезено в Москву и размещено во вновь созданном Московском публичном музее и Румянцевском музее (находился в знаменитом доме Пашкова). С этого времени Румянцевский музей и его библиотека стали одним из наиболее популярных культурно-просветительных учреждений Москвы.—428.

<sup>25</sup> Федоров в стяженной форме приводит следующее рассуждение апостола Павла из 1-го послания Коринфянам: «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом по сколько каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог; посеми и насаждающий и поливающий есть ничто, а *все* Бог возрастающий. Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы соратники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение» (1 Кор. 3:5—9).—432.

<sup>26</sup> Федоров приводит изречение известного французского хирурга *Амбруаза Паре* (1517—1590), внесшего значительный вклад в полевую хирургию, в лечение огнестрельных ран, переломов, суставов, артерий. Точный перевод с французского: «Я бинтовал (его раны), Бог его вылечил».—432.

<sup>27</sup> Федоров использует следующее место из 1-го послания ап. Павла Коринфянам: «Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе» (1 Кор. 15:42—43).—433.